

## **«Хайматлихе вайтен»**

### **и послевоенная литература российских немцев**

*В этом году исполняется 25 лет со дня принятия решения о создании в СССР первого после войны литературно-художественного и общественно-политического журнала советских немцев – альманаха «Хайматлихе вайтен». Мы обратились к бывшему редактору альманаха, Гуго Вормсбехеру (Москва), с просьбой ответить на наши вопросы, касающиеся создания и работы журнала, его роли в литературе советских немцев, а также положения советско-немецкой литературы и ее достижений в те трудные годы вообще.*

**1. Об альманахе «Хайматлихе вайтен» в «Лексиконе по истории и культуре российских немцев» (Bildungsverein für Volkskunde in Deutschland DIE LINDE e.V. Berlin, 2000) говорится: «Проект существовал с 1965 года». Если это так, почему идея была реализована лишь в 1981 году? Был ли альманах политической уступкой по отношению к советским немцам? Что должно было выразить название „Heimatliche Weiten“? Как Вы стали редактором альманаха?**

В «Лексиконе», на мой взгляд, явная ошибка. В 1965 году не могло быть и речи о литературно-художественном и общественно-политическом журнале советских немцев. Первые наши две делегации в том году (нынче отмечается их 40-ая годовщина!), ставили перед руководством страны только главные вопросы: полная реабилитация советских немцев и восстановление их государственности. И хотя члены делегаций говорили о том, что мало издается книг, что писателям негде публиковаться, - вопрос о журнале не поднимали. Во-первых, потому, что литература советских немцев тогда только начинала пробиваться к свету после войны, трудармии и режима спецпоселения; во-вторых, дать немцам тогда общественно-политический журнал - это означало дать чуть ли не оружие еще не до конца уничтоженным «пособникам фашистов»...

В ответе А.Микояна во время приема им нашей второй делегации речь также шла лишь об увеличении издательских возможностей (были потом созданы газета «Фройндшафт» и немецкая редакция в издательстве «Казахстан»).

Создание альманаха стало возможным в 1980 году (тогда было принято решение, выходить же он начал с 1981 года) по ряду причин, а именно.

К тому времени в ЦК КПСС был уже принят ряд постановлений об «улучшении культурно-массовой и политико-воспитательной работы» среди немецкого населения. Однако в условиях, когда немцы жили, как и сегодня, разбросанно, и когда эту «воспитательную работу» должны были делать не они сами, а кто-то заслуживающий большего доверия властей, эти постановления, хотя в некоторой степени и ослабляли дискриминационный пресс, практически не имели эффекта. Исключение - создание Немецкого драматического театра (выпуск труппы состоялся в 1980 году).

Тогда всё усиливались нежелательные для власти выездные настроения, которые однозначно трактовались как недоработка в этой самой «культурно-массовой» и прочей работе. А число наших членов в Союзе писателей СССР достигло уже двух десятков (что, правда, было больше аргументом для постановки вопроса об альманахе, чем уверенная база для его издания).

Но было еще и два субъективных момента. У советских немцев, как известно, за все послевоенные годы (и до сих пор) не было ни одного представительного органа, и редакция «Нойес лебен» все годы своего существования в какой-то мере выполняла его роль. К 1980 году сменился главный редактор газеты: вместо опытного, достаточно компетентного, хорошо знавшего и слабую нашу литературу, Г.Пшеницина, который одновременно был очень осторожен (это называлось у него «проявлять мудрую неторопливость») и в своем возрасте уже не проявлял инициатив без указаний сверху, - пришел лишившийся должности в аппарате ЦК КПСС В.И.Цапанов. Человек амбициозный, инициативный, опытный в аппаратных интригах, но несостоятельный как журналист, получивший некоторое ознакомительное представление о нашей проблеме и литературе лишь перед приходом на новую должность, - он как всякий человек, понимающий свою несостоятельность, стремился самоутвердиться.

Недостатки человека, если их направить к нужной цели, имеют иногда большее значение для хорошего дела, чем достоинства. Так получилось и с В.Цапановым.

Идея создания журнала могла в то время принадлежать, к сожалению, только мне: по образованию и по многолетней работе в газетах «Фройндшафт» (Казахстан) и с 1970 года в «Нойес лебен» я был редактором; в течение многих лет я внимательно следил за литературной периодикой страны, и в общем-то я представлял себе, что значит выпускать журнал. По собственным литературным попыткам (ряд рассказов, повести «Наш двор», «Имя вернет победа») я приблизился, хотя бы тематически, и к литературе советских немцев, был достаточно знаком с нашими авторами, чтобы иметь представление об их возможностях. А по своему убеждению, что неравноправное положение российских немцев *должно* быть исправлено и, следовательно, *может* быть исправлено, - я не мог быть равнодушным к положению нашего народа, одним из следствий которого было и тяжелейшее состояние нашей литературы.

В то, что можно создать журнал, практически никто из моих коллег в редакции не верил. Даже в отделе литературы: ведь материалов, особенно прозы, часто не хватало даже на одну газетную полосу в неделю; откуда же они возьмутся еще и для журнала? Но энергия заблуждения (Л.Толстой) порой эффективнее трезвости и знания.

Мне удалось убедить В.Цапанова поставить вопрос о создании журнала как инициативу редакции «Нойес лебен» перед ЦК КПСС – такие вопросы решались только там. Удалось убедить и в том, что нужный потенциал у нашей литературы найдется. И что если главный редактор газеты решит этот вопрос, который до него никто решить не смог, - народ этого не забудет...

Так удалось добиться нужного решения. А когда встал вопрос о редакторе нового издания, то проблемы возникли не меньшие: работа предстояла не только большая, но и очень разноплановая: литература, история, культура, искусство российских немцев, публицистика. Никто не рисковал браться за нее. К тому же оклад редактору был в ЦК при утверждении штатного расписания назначен значительно меньше, чем был у меня. Привлечь на такой оклад квалифицированного человека со стороны также было невозможно. Я согласился, уходя одновременно с более высокой должности редактора отдела и члена редколлегии газеты на более низкую. (Позже удалось убедить В.Цапанова и в том, что речь должна идти не конкретно обо мне, а вообще об условиях, на которые при необходимости можно будет взять нужного специалиста, и он смог добиться в ЦК пересмотра только что принятого там решения - небывалый случай). Так я стал редактором альманаха.

С названием альманаха тоже долгое время были проблемы, и я предложил объявить конкурс в редакции на лучшее название. Первое место и заняло «Хайматлихе вайтен». Я был против него, мне оно не очень нравилось для журнала, в том числе и потому, что для простых российских немцев, не очень разбирающихся в тонкостях немецкого языка и

воспринимавших немецкие слова нередко через их перевод на русский, „Хайматлихе вайтен” означало не столько родные просторы, сколько родные дали, т.е. как бы ориентировало их на эмиграцию и уводило от борьбы за свое национальное будущее.

Впрочем, при таком понимании название приобретало и определенное протестное содержание: *родные дали* вполне могли восприниматься и как места прежнего проживания российских немцев, откуда они были выселены в 1941 году, а если и будут восприниматься как «историческая родина», то это как бы означало, что «просторы», на которых до сих пор нереабилитированными жили депортированные в начале войны советские немцы, до сих пор для них и *не родные*.

В общем, «патриотичность» названия одержала в конкурсе верх... Позже, когда это название наполнилось уже конкретным содержанием альманаха, оно стало более привычным и для меня, а коллеги находили в нем еще одно «достоинство»: в переписке, в публикациях всё чаще стали использовать только аббревиатуру – «НВ», что одновременно было и инициалами редактора журнала...

Был ли альманах политической уступкой властей? Скорее это было понимание властями необходимости сделать хоть что-то для «удовлетворения национальных запросов». Не исключено, что создание альманаха сопровождалось надеждой сделать его каналом партийного воздействия на немецкую творческую интеллигенцию – ведь тогда любое издание в СССР было только партийным и только подцензурным. Но если такая мысль и была, то этого не получилось.

## ***2. Незадолго до прекращения выхода альманаха Вы писали в нем в №1/1989:***

***«Свою задачу я как действующее лицо в этой литературе и как редактор альманаха, через который сейчас идет основной поток советской немецкой литературы, вижу в том, чтобы подготовить контурную карту, причем только послевоенной нашей литературы».***

***Каким был этот поток, и каковы его контуры – по содержанию и в художественном отношении? Какой была начальная концепция альманаха и как она менялась с годами?***

Для читателя: мои слова относились только к задаче, которую я тогда перед собой поставил, приступая к объемной статье о нашей послевоенной литературе - написать рабочий материал на основе непосредственных впечатлений *изнутри* литературного процесса. Так сказать, заметки с места событий, чтобы будущим исследователям нашей литературы осталась некоторая информация о том, чего уже через одно, два поколения не будет видно, в том числе и об удручающей атмосфере, в которой наша литература боролась за свое существование на грани разрыва сердца...

Через альманах тогда действительно проходил основной поток нашей литературы - сегодня это видно ещё яснее. Не только по объему и жанровой полноте (повести и романы за пределами альманаха печатать было негде; даже в издательство принимали, как правило, лишь то, что уже было опубликовано, т.е. что уже прошло и редакционную обработку, и политическую цензуру), но и по качеству публикуемого. Полагаю, наиболее полное представление о самом активном и развитом периоде нашей послевоенной литературы - периоде, связанном с выходом альманаха, - дают именно 19 его книжек, которые удалось выпустить за 10 лет.

Содержание произведений в альманахе всё больше приближалось к охвату всей проблематики российских немцев, особенно в последние его годы - годы перестройки. Так, с первого номера через художественные произведения начала освещаться (естественно, в рамках возможного) наша история, до этого практически запретная: роман

Александра Реймгена «Geschmack der Erde» пусть и не касался острых проблем, но показывал, что российские немцы существовали и в двадцатые годы прошлого века, и в довоенные годы, и жили тогда *вместе*, и говорили на родном немецком языке.

Исторический роман совершенно нового автора, Вильгельма Брунгардта, «Sebastian Bauer», уходил своим содержанием ещё дальше, к самому началу истории российских немцев – их выезде из Германии в 18-м веке, прибытию в Россию и первым трудным годам обустройства в Поволжье. К этим истокам никто из наших авторов до выхода альманаха не доходил.

О предреволюционных и первых послереволюционных годах в немецких колониях на Волге, о драматических событиях того жестокого времени рассказал в своем романе «Через школу жизни» Рейнгардт Кёльн.

Жизни, обычаям, классовой борьбе в тех же поволжских колониях в 1920-1930-е годы был посвящен роман Андреаса Закса «В вихре времени» („Im Wirbelsturm“). О той же раздиравшей народ классовой борьбе на Волге рассказывала документальная повесть Йозефа Каппа «Письма из комсомольской юности», в которой некоторые сцены были так остры, что их пришлось смягчить или вообще убрать. Тем временам была посвящена и повесть Доминика Гольмана «Красные всадники».

За патриотичными названиями произведений, за «идейно выдержанными» темами читатель мог увидеть события тех лет и с изнанки, через призму своего опыта и знаний. Но главное – это было прикосновение к истории народа, о которой уже сорок лет вообще нельзя было писать и о которой уже почти три поколения российских немцев нигде ничего не могли ни прочитать, ни услышать. Произведения в альманахе, пусть неполно, пусть деформированно идеологическими тисками, всё же показывали, что у российских немцев, оказывается, тоже была когда-то своя национальная жизнь, а отсюда не могли не вызывать естественный вопрос: почему же ее нет теперь?

Наконец, мне удалось разыскать вдову Герхарда Завацкого, крупнейшего нашего довоенного писателя. Он был арестован в 1938 году, ночью накануне ареста был, как рассказывали, уничтожен только что отпечатанный тираж его главной книги - романа «Мы сами» („Wir selbst“), самого значительного произведения советской немецкой литературы вообще. Через несколько лет Герхард Завацкий погиб в лагере, а его жена при выселении взяла с собой в Сибирь машинописную копию рукописи уничтоженного романа – 1200 страниц! – и чудом сохранила ее, несмотря на все невзгоды и опасности. Мне удалось также уговорить ее выслать нам эту рукопись – единственную в мире и самое дорогое, что у нее было. И рукопись – в те времена! – дошла по почте. И мы смогли напечатать, вернуть нашему народу и всему миру роман, стоивший автору жизни. Это было первое - и какое! – произведение нашей довоенной литературы, опубликованное за сорок послевоенных лет.

Произведения писателей старшего поколения о дореволюционном и довоенном прошлом дополнялись в альманахе произведениями о военном и послевоенном времени, о современности - авторов уже следующего поколения: Роберта Вебера, Герольда Бельгера, Карла Шиффнера, Фридриха Сиптица.

Так через публикации в альманахе российские немцы опять обретали свою историю, ощущение того, что они были и остались народом, и одновременно подводились к вопросу: как же им остаться народом и дальше?..

Наряду с художественной и документальной прозой в альманахе регулярно публиковались материалы по истории российских немцев, об их литературе, о людях искусства, об известных российских немцах. Например, о крупнейшем художнике из немцев Поволжья Якове Вебере, чьи работы – немногие уцелевшие после репрессий, выпавших на его долю, – мы с его учеником Рейнгольдом Бергом разыскали в г. Энгельсе

и добились первой - с тридцатых годов! - их выставки. Или о знаменитой на всю страну трактористке с Целины Наташе Геллерт. О рассекреченном к тому времени ученом, внёшем большой вклад в развитие космонавтики, академике Борисе Раушенбахе...

Что же касается концепции альманаха, то следует различать две концепции. Одну, *продекларированную* в первом его номере во вводной верноподданнической статье, настолько наполненной пропартийным пафосом, что и сегодня ее трудно читать без боли от понимания того, как же мы все были унижены, если были вынуждены, а возможно, считали даже необходимым и целесообразным, в таких выражениях писать программную статью для литературного(!) издания (автор?). И вторую концепцию, которая нигде не декларировалась, но последовательно осуществлялась на *практике* (что показывают вышеприведенные примеры) и которая была неизменной фактически все годы выпуска альманаха, меняясь только степенью ее реализации, зависевшей от расширявшихся в ходе перестройки возможностей.

***3. Ожидания в отношении альманаха, его публикаций по литературе, истории, культуре российских немцев, включая презентацию художников, были во всей стране велики. Насколько смог альманах оправдать их? Было ли и для альманаха главным требованием соблюдение идеологической позиции?***

Ожидания альманаха действительно вызвал большие, и если вначале они были лишь у узкого круга авторов, то со временем они охватили и многих читателей. Каждый номер альманаха ждали, и судя по откликам, он мало кого разочаровывал.

Я не склонен считать это особым достижением тех, кто его делал. Просто альманах подтверждал, на мой взгляд, то, в чем я уверен и сегодня: практически в любой ситуации, даже в рамках бесчисленных запретов, можно что-то делать для своего народа, если очень хочешь. А такие усилия не остаются без внимания.

Ярким примером в этом был для меня журнал «Новый мир» - лучший, на мой взгляд, советский толстый журнал, который в значительной степени подготовил меня к тому, что я отважился взять на себя редактирование альманаха. Благодарен я также Алексею Дебольскому (Шмелеву), бывшему главному редактору газеты «Фройндшафт», который во время моей работы под его началом, несмотря на мою особую поднадзорность после участия в двух делегациях 1965 года, поддержал и укрепил во мне это стремление делать что-то для общего дела, и который беспощадным редактированием моих первых статей показал мне, как требовательно следует относиться к рукописи, какой труд нужно вкладывать, если хочешь сказать что-то выходящее за рамки общеизвестного и дозволенного.

(Первой такой статьей была моя критическая рецензия на знаменитый фильм Бондарчука «Война и мир», получивший к тому времени уже и зарубежные премии. Эту рецензию я переделывал после всё новых замечаний Дебольского тринадцать раз, потом он сам прошелся по ней, не оставив в ней, как мне тогда казалось, камня на камне. Естественно, во мне это вызвало далеко не радостные эмоции, зато мне стало ясно, *что* значит написать и опубликовать единственную, наверное, во всем Советском Союзе критическую рецензию на уже признанный фильм...)

Ожидания к альманаху действительно развивались и крепились. Для авторов сногшибательным оказалось и то, что они впервые начали получать за публикации нормальные гонорары (ставки гонорара на уровне официально принятых в стране для произведений литературы и искусства также удалось пробить в ЦК). У меня была даже идея добиться увеличения выпуска альманаха с двух до четырех-шести номеров в год, что при достигнутых ставках гонорара позволило бы перевести ряд наших наиболее

талантливых писателей вообще на профессиональную литературную работу; по разным причинам этого, однако, сделать не удалось.

Авторы увидели в альманахе реальную возможность опубликовать то, что раньше в газете опубликовать было невозможно, т.е. повести и романы. Писать их уже не было бесполезным занятием. Поэтому-то в нашей литературе, откуда ни возьмись, после небольших рассказов пошла вдруг потоком крупноформатная проза.

Опубликоваться в альманахе было труднее, чем в газетах, потому что критерии в нём были выше, а требования к национально ориентированному содержанию, к художественному и языковому уровню произведений росли с усилением конкуренции материалов и авторов. Читатель видел, что в альманахе практически не печатались переводы из других литератур (их полно было в газетах), хотя в передовой статье в первом номере альманаха это также предусматривалось; альманах целиком был поставлен на службу развитию литературы российских немцев.

Было ли соблюдение идеологической позиции для альманаха главным требованием? Здесь нужно уточнить вопрос.

Если иметь в виду идеологические требования официальных органов, то, разумеется, они относились к альманаху как к любому печатному органу в Советском Союзе, только еще более жестко - как к изданию национальному и изданию советских немцев. Если же говорить об «идеологической позиции» самой редакции альманаха (а это было всего два человека: кроме меня - еще Екатерина Тёвс, бывшая учительница немецкого языка как родного из Оренбуржья, из семьи меннонитского проповедника), то, конечно, не мы устанавливали идеологические рамки для себя: нам хватало рамок, установленных свыше.

Однако в этих рамках можно было вести себя по-разному: соблюдать их, сужая в целях собственной безопасности еще больше; или работать на предельной допустимости этих рамок, стремясь постепенно расширять их. Примером действий по второму варианту был тот же «Новый мир». И если сравнивать первые номера альманаха даже не с последними перестроечными, а с последними предперестроечными, то можно уже заметить, насколько в этом отношении удалось продвинуться вперед.

В оценке же присылаемых рукописей мы исходили в первую очередь из того, насколько произведение отражает жизнь, проблемы российских немцев, насколько актуально и значительно содержание, насколько приемлем литературный уровень. Учитывался, конечно, и чисто человеческий момент: возраст автора, чтобы дать ему еще возможность увидеть свое произведение опубликованным...

Что же касается идеологических требований, то мы считали своей задачей обеспечить прохождение цензурных ограничений на возможном пределе.

#### ***4. Развитие немецкой литературы в послевоенное время в СССР является наглядным примером того, как сильно зависит художественное, литературное творчество народа от политических условий...***

Еще как зависит! И еще каким «примером» была тут наша литература!..

***Была ли вообще возможна, при полной политической подконтрольности, независимость литературы советских немцев? Или её развитие имело заданную направленность? Была ли у Вас как редактора свобода действий, или было четко предопределено, что и кто должны публиковаться?***

В том смысле, какой обычно вкладывается в понятие независимости литературы, печати вообще, - т.е. независимость ее от власти, от политического режима, от цензуры, свобода писать и публиковать то, что она сама считает нужным – такой независимости не

могло быть в Советском Союзе вообще ни у одного издания, тем более у журнала советских немцев. Даже самая «свободная» тогда «Литературная газета» выходила в четко определенных для неё еще Сталиным рамках: ей позволялось несколько больше, чем другим, чтобы создать у «мирового общественного мнения» впечатление, будто в Советском Союзе допускаются и «оппозиционные» издания. И эта функция, возложенная на «Литературку» Сталиным, соблюдалась, как политически выгодная для СССР, и его преемниками. Но это была псевдосвобода: просто рамки для одной газеты были установлены чуть шире, чем для других. Выходить же за эти чуть расширенные рамки не позволялось и ей.

На мой взгляд, абсолютной свободы и независимости прессы быть не может вообще. И попытки внушить кому-то, что в такой-то стране, при такой-то власти пресса совершенно свободна и независима – это блеф. Она может быть в одной стране больше независима, чем в другой, но везде у нее есть свои рамки. В этом мы смогли убедиться даже уже на примере России, где после развала СССР у нас практически вся пресса оказалась в частных, негосударственных, руках.

Дело в том, что у каждого издания есть свой хозяин. И даже если он не является членом какой-то партии и не делает свое издание рупором только этой партии, запрещая материалы, противоречащие интересам его партии; даже если он просто предприниматель, делающий свой бизнес на газете; даже если он всего лишь спонсор газеты, - он никогда не позволит газете публиковать то, что считает не соответствующим его интересам: кто платит деньги, тот заказывает музыку. И законы бизнеса, стремление к прибыли, частный собственник газеты могут быть не менее беспощадными политическими цензорами и ограничителями свободы слова, чем самые тоталитарные режимы; могут сделать и само издание, и журналистов в нем весьма продажными. Это мы видели и видим постоянно, даже на примере газеты «Нойес лебен», уже не раз использованной для исполнения заказываемой музыки, и даже для удовлетворения личных интересов и амбиций ее очередного владельца, как публичный инструмент сведения его личных счетов с оппонентами.

Еще раз: наша литература никак не могла быть независимой. Она не может быть независимой и сегодня, потому что для своего существования должна иметь поддержку – материальную, авторскую, читательскую. У нас есть сегодня свобода писать, но нет свободы (возможности) публиковаться: негде, не на что, нет оплаты литературного труда. Способствует ли такая независимость, такая свобода слова, при отсутствии возможности реализации этой независимости и свободы, развитию литературы? Такая независимость не способствует даже существованию нашей литературы. Поэтому ее у нас сегодня в России практически и нет.

Литература – не приусадебный участок, который может при необходимости прокормить того, кто его возделывает. Литература, как ни дико это может звучать, тоже товар, причем не для собственного авторского потребления. Пусть уникальный, пусть омытый кровью собственного сердца, но - товар. И настоящая, серьезная литература может существовать лишь когда на нее есть спрос. Если же спрос есть лишь на детективы да на эротику, значит, серьезным писателям придется переключаться на возделывание приусадебного участка. Когда он есть. И довольствоваться свободой уже агротворчества в рамках того, что позволяет климатическо-почвенная цензура...

Наша литература не могла быть независимой. Но она не имела, по-моему, и специально для нее заданной сверху направленности: кому «там, наверху» нужна была эта направленность? Управление нашей литературой ограничивалось ее всесторонним и надежным сдерживанием, для чего вполне достаточно было общих политических рамок и цензуры в стране.

У редактора альманаха также не могло быть свободы действий в сегодняшнем смысле. Но была определенная свобода действий в рамках всеобщей несвободы. Нам не было определено, кого и что печатать и не печатать: на начальном уровне мы это могли решать сами. Эта пусть и небольшая свобода позволяла, однако, как и другим изданиям, отбирать для публикации лучшее из того, что поступало в редакцию, стимулировать, в том числе и повышенным гонораром, написание насколько возможно актуальных, серьезных, качественных произведений.

**5. *Ваша документальная повесть «Имя вернет победа» рассказывает о советских немцах во время войны. И другие Ваши произведения прозы, как утверждает Аннете Мориц в «Лексиконе литературы российских немцев» (2004, Эссен), представляют собой «исследование, объяснение и оправдание советского патриотизма» российских немцев („Analyse, Aufklärung und sowjetpatriotische Rechtfertigung“).***

*Это звучит как определение основной идеологической функции немецкой литературы. Вы тоже так считаете?*

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно бы точнее знать, какой смысл вкладывает в такую довольно ёмкую оценку сама Аннете Мориц.

Вообще-то у меня давнее настроенное отношение к западным критикам нашей литературы. (Впрочем, наши собственные критики тоже редко радуют: обычно они гораздо менее профессиональны и гораздо более категоричны). Потому что слишком часто их критика - это обвинение больного в том, что он выглядит почему-то не так, как его здоровый сосед. А почему он выглядит не так, может ли он выглядеть иначе, и мог ли он вообще быть здоровым после того, что пережил – об этом критики обычно не пишут.

На мой взгляд, оценка любого явления, в том числе таких, как литература целого народа, или творчество конкретного автора, или хотя бы одно конкретное произведение – не может быть верной, если не учитывается контекст, в котором возникло или существует это явление; если не учитываются конкретные условия, в которых жил и писал автор, в которых создавалось произведение. И еще одно важно соблюдать тому, кто выносит свой вердикт – основополагающий принцип, сформулированный Пушкиным: судить художника по законам, им самим над собою признанным. То есть, нельзя судить Кнута Гамсуна за то, что он писал не как Рабле или Анна Зегерс, и наоборот.

Если Аннете Мориц отмечает как характерный момент для моих произведений «исследование, объяснение и оправдание советского патриотизма» *советских немцев*, то это в принципе верное наблюдение. Но если этим увиденное и ограничивается, то увиден лишь инструмент, а не цель и результат его применения. Потому что писал я о том, о чем нельзя было писать, причем писал обычно первым («Кто, если не ты? И когда, если не сейчас?»). И чтобы всё же донести до читателя то, что я хотел донести, моя задача была написать так, чтобы для прохождения цензуры внешне всё выглядело достаточно соответствующим официальной идеологии, а внутреннее содержание было понято нашими читателями, которым не надо было объяснять, о чём на самом деле идет речь: каждый из них сам прошел через все круги ада и знал, *что* в действительности находится там, внизу, в подтексте, под слоем «советского патриотизма».

Еще: наивно полагать, что в Советском Союзе кто-то мог писать с антипатриотических, тем более с антисоветских позиций. Критические произведения по отношению к строю, системе, стране вообще были недопустимы. (Солженицына спасло то, что он получил в период хрущевской оттепели широкую известность, а пресечен был в своей «антисоветской деятельности» во времена Брежнева, когда за нее уже не расстреливали мгновенно, как при Сталине, а выдворяли иногда из страны).



Я избрал метод критики власти *с позиции самой власти и господствующей идеологии* (первым это заметил и отметил А.Дебольский, который тоже иногда тонко пользовался этим методом), показывая на *результатах* политики власти по отношению к нашему народу кричащее несоответствие этой политики ни официальной идеологии, ни Конституции и законам страны, ни «ленинским принципам национальной политики». Причем пользовался я этим методом не только в литературе, но и как участник движения советских немцев за полную реабилитацию и восстановление государственности. Другого метода у нас тогда быть не могло.

Аннете Мориц верно отмечает мое стремление *показать* советский патриотизм советских немцев (если именно это она имеет в виду). Это действительно было моей (и не только моей) целью. Но это не было моей *конечной* целью. Показать советский патриотизм советских немцев означало, по сути, показать необоснованность, несправедливость обвинений их в пособничестве фашизму, означало показать и несправедливость наказания за эти обвинения, а следовательно, означало *оправдать* – не советский патриотизм, не Советскую власть, а - *советских немцев перед несправедливостью к ним Советской власти*.

Таким образом достигалось сразу несколько целей.

С одной стороны, перед властью ставился вопрос о том, чтобы исправить положение советских немцев, привести его в соответствие с провозглашенными принципами национальной политики и положениями Конституции СССР, которым противоречили действия (или бездействие) властей.

С другой стороны, у советских немцев снималось чувство вины перед страной, они могли считать себя не хуже других ее народов, у них возрождалось чувство национального достоинства, они подводились к мысли о необходимости добиваться отмены несправедливых обвинений и восстановления своего равноправия, т.е. добиваться своей реабилитации.

Одновременно они подводились и к выводу о том, что добиваться своей реабилитации – это не нарушение закона, а их законное право выступать против нарушения закона самой властью, что позволяло преодолеть многолетний страх действовать против несправедливых обвинений, неравноправия и дискриминации.

Эта задача - *оправдать свой народ* перед властью, перед народами страны и в его собственных глазах показом его равенства в советском патриотизме с другими народами страны была, как можно видеть по нашей литературе, таковой и для других авторов: они тоже стремились показать участие российских немцев в Октябрьской революции, в борьбе за Советскую власть, показать героизм немцев-участников войны, самоотверженность трудармейцев, трудовой вклад советских немцев в «строительство коммунизма». То есть, показ советского патриотизма советских немцев имел по сути выраженный протестный характер.

Но советский патриотизм советских немцев, который мы стремились показать и доказать, сделав это *первостепенной политической и моральной задачей для оправдания народа и восстановления его равноправия*, не был лишь инструментом, используемым в борьбе для достижения пусть и благородных целей. Советский патриотизм был, на мой взгляд, действительно присущ нашему народу не меньше, чем любому другому народу в СССР. Иначе и быть не могло. Потому что Россия (СССР) была нашей родиной, потому что в России мы родились и сформировались как народ, потому что мы были гражданами России. А также потому, что вера в «светлое будущее», которое многие, воспитанные *только* в советских условиях, искренне связывали с социализмом, с тем, что он когда-нибудь «станет лучше», и с не совсем понятным, но, конечно, очень светлым коммунизмом, - эта вера была для большинства советских людей, в том числе и советских

немцев, такой же общественно-политической религией, какими были и остаются для народов других стран их общественно-политические религии в виде народных и прочих демократий. А религия основана не на логике, не на науке, а на беспрекословной вере («верую, потому что абсурдно» - сказал семь веков назад христианский богослов и философ Фома Аквинский).

Еще один прием был использован мною при написании моей самой трагичной (и чуть не потребовавшей мою жизнь вообще) повести «Наш двор». Приём, который заключался в том, что главными героями повести, жертвами репрессий, были изображены практически идеальные приверженцы существующего строя: дед маленького главного героя - борец за Советскую власть и чекист; отец – советский учитель и коммунист; старший брат - пионер... (Наш старый писатель Р.Кёльн после прочтения повести сказал мне, что для немцев Поволжья такая семья в двадцатые-тридцатые годы была «нетипичной», и я раскрыл ему секрет ее происхождения). Казалось бы, уж им-то всем должно быть хорошо при «своей» власти, в «своей» стране. Однако все они обречены на гибель – от этой власти... Можно ли было резче показать несоответствие политики такой власти жизненным интересам людей, если даже своих преданнейших сторонников и защитников она обрекает на гибель?..

В этой связи несколько странно для меня выглядят утверждения о том, что моё творчество носит просоветский характер – например, в книге В.Мангольда о литературе российских немцев. Могу только выразить сожаление, что сама Советская власть и ЦК КПСС, запрещая публикацию повести «Наш двор», были как минимум 15 лет другого мнения о ее «просоветскости». Мне же представляется, что если подходить к написанному мною без конъюнктурных шаблонов и не принимать заданную просоветскость героев за концептуальную просоветскость произведений, то гораздо обоснованнее можно придти к выводу, что таких антисоветских произведений, как мои две повести, в нашей литературе советского периода больше нет. Я не считаю это достоинством; просто я показывал то, что было Советской властью сделано с нашим народом на самом деле. И показывал не только в этих двух повестях, но и во всем, что я написал и сказал за сорок лет: в стихах («Письмо Н.С.Хрущеву», 1963), в прозе (повестях), в публицистике, в материалах и выступлениях в движении российских немцев - не найти ни одного слова одобрения и поддержки репрессий и несправедливостей (если, конечно, не придерживаться «аналитических методов» Р.Кайля).

Не случайно даже в 1989 году, когда «Мосфильм» вместе с одной западногерманской киностудией готовились экранизировать повесть «Наш двор», и съёмочная группа уже готова была приступить к работе, из Германии в последний момент пришло сообщение: студия вынуждена отказаться от участия в создании фильма... Как вы думаете, почему? Потому что *«отношения Западной Германии с СССР сегодня очень хорошие, и создание такого фильма может этим отношениям повредить»*... Надо полагать, не «просоветскость» этой повести была сочтена способной «повредить» развивающимся отношениям двух стран, и не какая-то западная киностудия, ориентированная лишь на кассовый успех, пришла к такому глубокому политическому выводу...

Да, стремление показать советский патриотизм советских немцев был свойственен нашей литературе. И это было осознанной целью нашей литературы, наших писателей – для достижения другой, главной цели – реабилитации нашего народа. Это было и творческим приемом – для достижения той же цели. И, как правило, показ этот соответствовал правде жизни. А если кому-то сегодня это кажется недостатком, или даже виной нашей литературы и наших писателей, то это говорит или о незнании тех условий, в которых жили советские немцы, условий, в которых боролась за выживание их литература и пытались, несмотря ни на что, добиться справедливости для своего народа их писатели; или это говорит о стремлении сегодня, в совершенно иной политической конъюнктуре,

осуждением прошлого, публичным дистанцированием от этого прошлого приобрести желаемый конъюнктурный имидж.

Попробовали бы сегодняшние наши критики побороться с «советским тоталитарным режимом» в тогдашних условиях! И с других, антисоветских позиций! Да еще изображая советских немцев противниками Советской власти, врагами своей страны! Что бы они услышали от самих советских немцев, не успевших еще сбросить с себя груз по-прежнему действовавших прошлых обвинений в «пособничестве фашизму» и новых обвинений - в получении «унижающих достоинство советского человека» посылок из-за рубежа, в устремленности взгляда на выезд («сколько волка ни корми...»), в национальной замкнутости, в религиозном сектантстве и в прочих смертных грехах...

В этой же связи по меньшей мере бестактными выглядят сегодня упреки и в адрес нашей уважаемой Нелли Ваккер за ее стихотворение «Два родных языка», написанное в те времена. Это стихотворение сыграло тогда большую роль. Оно правильно отражало языковую ситуацию у советских немцев: депортация, распыление народа по огромной территории, отсутствие национальных школ и насильственная ассимиляция действительно привели к тому, что для многих советских немцев практически вторым родным языком стал русский язык. Абстрагируясь от причин, о которых Нелли Ваккер писать тогда, конечно, не могла, правомерно и сегодня отметить жизненно важное значение знания русского языка для нас как граждан русскоязычной страны. Через русский язык мы получили доступ к образованию, к многонациональной культуре и литературе страны, к мировой культуре и литературе.

Это стихотворение имело и большое политическое значение: оно отвергало прежние и предупреждало новые упреки нашему народу в национальной самоизоляции; показывало хотя бы языковую интегрированность советских немцев в «семью братских народов»; отражало понимание ими большого значения знания государственного языка.

Сегодня поэтессу упрекают за «второй *родной* язык». По сути, такие упреки являются сегодня продолжением политики КПСС и советской цензуры. Даже больше: те определяли только, что разрешить и что запретить публиковать в настоящем, а авторы сегодняшних упреков претендуют на право определять *сегодня* даже то, что наши писатели и поэты должны и не должны были писать *в прошлом*.

Почему тогда не обрушить такие же упреки на тех, кто выступает сегодня за скорейшее освоение переселенцами литературного немецкого языка, никогда не являвшегося родным языком российских немцев (нашим родным языком были диалекты, а литературный язык был лишь языком школы, церкви, газет), но являющегося государственным языком в Германии? На тех, кто выступает за скорейшую полную «интеграцию» поздних переселенцев, которая предстает фактически как очередная полная ассимиляция?

Выступать против этого просто неумно: чтобы нормально жить в стране, нужно как минимум знать государственный язык. Это нужно нашим переселенцам сегодня, это еще более нужно было советским немцам тогда. В том числе и потому, что знание русского языка позволяло им, при всей их дискриминации, получать образование и, т.о., не быть поголовно обреченными только на малоквалифицированный труд в сельском хозяйстве да на шахтах.

Но приобретение новых богатств (знания немецкого языка «поздними переселенцами») не обязательно должно сопровождаться уничтожением уже имеющихся богатств (знания русского языка). Прекрасное знание переселенцами русского языка на уровне, который не в состоянии обеспечить никакая германская школа и даже вуз – это ведь богатство не только для переселенцев; это огромное богатство и для Германии, которое она получила как подарок вместе с переселенцами; это богатство, которое может

сыграть большую роль во всё более тесных отношениях между двумя великими государствами, а потому государству целесообразно и **выгодно** его поддерживать и сохранять: поддерживать его ведь гораздо дешевле, чем создавать потом заново...

Спасибо Нелли Ваккер за стихотворение, написать которое требовало тогда определенного мужества. И вряд ли нужно ей опускаться сегодня до самооправданий. Лучше задать вопрос тем, кто всегда больше католик, чем папа римский: а где были *вы*, когда народ задыхался от несправедливости и униженности? И что лично *вы* сделали тогда для своего народа, чтобы помочь ему хотя бы выстоять в тех нечеловеческих условиях?

И вообще: незнание того, что в действительности наша литература сделала для своего народа, не дает никому морального права обвинять ее в том, что она в прошлом не выполнила сегодняшних указаний сегодняшних критиков.

**6. На Первом Всесоюзном съезде писателей СССР в 1934 году профессор Франц Шиллер (1898-1955) предсказывал: «советско-немецкая литература нашими общими усилиями не только достигнет уровня литературы наших братских народов, уровня советской литературы, но и будет скоро идти в одной из первых её шеренг». 32 года спустя Александр Геннинг (1892-1974), Нестор советско-немецкой литературной критики, отмечал: «Нельзя не признать, что общий результат творчества наших литераторов даже после десятилетних усилий всё еще намного отстает от достижений их коллег в других национальных литературах». То есть, российско-немецкие авторы не смогли создать заметных произведений. Это действительно так? И ещё: альманах, как известно, критиковали прежде всего за языковую беспомощность; как Вы пытались сделать его тематически, в художественном и в языковом отношении лучше?**

Франц Шиллер был для своего времени масштабным ученым в области истории литературы, знал хорошо западно-европейскую и советскую литературу, знал литературу советских немцев, лично был дружен или знаком со многими нашими тогдашними писателями. Его прогноз имел под собой реальное основание: достигнутый уровень наших писателей и поэтов. Вершина и главная надежда среди них – начинавший Герхард Завацкий. И если учесть, что высокие вершины, как известно, не появляются в одиночестве в плоской степи; они всегда в окружении других, менее высоких гор как продукт длительной региональной тектонической деятельности, то Завацкий не мог возвышаться над российско-немецкой творческой равниной один.

Прогноз Франца Шиллера вполне мог оправдаться, потому что наша литература опиралась на серьезные литературные процессы и развитую базу национальной жизни не только в АССР НП, но и на Украине, в Крыму, на Кавказе, в Сибири - где многогранно и бурно протекала жизнь советских немцев. Мог оправдаться, потому что у нашей литературы был значительный дореволюционный опыт и достижения. Мог оправдаться, потому что советские немцы, и вместе с ними их литература, искусство, выламывались тогда из своей полуторавековой замкнутости в окружающую их жизнь страны и мира, получая одновременно всё более широкие знания и образование. Мог оправдаться, потому что литература, искусство получали государственную поддержку, были востребованы народом, имели своим предметом свой живой народ, и были обращены к своему народу.

Наша литература не только имела практически все условия, имевшиеся у других национальных литератур; она вдобавок опиралась на достаточно развитую национальную культуру, на уже достигнутую сплошную грамотность немецкого населения, а также подпитывалась мощной немецкой классической литературой, чего не было у большинства других национальных литератур страны.

Однако предсказание Шиллера не сбылось. Потому что Советская власть, создавая новые условия для становления и развития *новой* литературы, одновременно разрушала необходимые условия для развития *полноценной* литературы. Она прервала связь времен в ней, классовым подходом отторгнув в значительной мере дореволюционную литературу. Уничтожила необходимую свободу творчества сужением его функций до функции оправдания и поддержки интересов «партии рабочего класса». Затем уничтожила творцов, причем в первую очередь наиболее талантливых, которым установленные рамки были особенно тесны. Потом стала разрушать условия, необходимые и для будущего нашей литературы - закрытием немецких школ, переводом преподавания на русский язык. А депортацией всех советских немцев, ликвидацией их республики и национальных районов, распылением народа по огромной территории Сибири и Казахстана Советская власть уничтожила даже то, что не она создавала: совместное проживание, национальное самоуправление, условия для национальной жизни, условия для будущего народа вообще. И в конце концов, запретом писать после войны о действительном положении народа предупреждала и безжалостно прерывала на самой ранней стадии беременность нашей литературы национальной проблематикой, без которой не может быть национальной литературы вообще.

То есть с литературой было сделано примерно то же, что и с советскими немцами во время войны: как народ был на годы разделен по половому признаку даже в трудармии, чтобы лишить его возможности воспроизводства, так и литература была отлучена запретами и цензурой от всей проблематики жизни народа, чтобы она не могла произвести на свет ни одного серьезного произведения...

С предсказанием Франца Шиллера вполне можно было согласиться; то, что оно не оправдалось, не вина ученого: он не мог предвидеть, что власть будет уничтожать именно то, что ей больше всего нужно – интеллект, способности, разнообразие талантов, причем в масштабах всей страны.

А высказывание Александра Геннинга – доброго старого Александра Геннинга, который находил теплое слово поддержки для каждого, кто издал хотя бы один печатный писк в районной газете, и который, как старый учитель начальных классов, так нужен был в тот период нового изучения литературной азбуки литераторами-первоклашками, - это конкретное высказывание Александра Геннинга, если вырвать его из контекста всего творчества критика, содержит ту же ошибку, что и многие оценки нашей литературы западными учеными и критиками. А именно: в нём к нашей литературе применяются чужие мерки; в нём констатируется ситуация без её анализа (то, что этот анализ был тогда невозможен – другой вопрос; но если невозможен или не под силу анализ, не давай оценок!); в нем констатация превращается в упрек; в нем недостатки одних попрекаются достоинствами других; в нем сравнивается несравнимое: литература советских немцев, не имеющая никаких условий для своего возрождения после практически полного ее уничтожения перед войной, в трудармии и в послевоенные годы, - с литературой других народов, которые имели свои республики, национальные школы, национальную жизнь, литературные журналы, материальную, издательскую базу, могли выращивать и поддерживать свои таланты; с литературой народов, которые не были депортированы, не были обвинены в пособничестве фашизму, не дискриминировались за свою национальность, и могли – в пределах, установленных для всей советской литературы, – писать о прошлом и настоящем своего народа на родном – *не немецком!* - языке.

Но это высказывание Александра Геннинга вполне можно считать и полускрытым упреком власти за положение нашей литературы, а не просто обвинением писателей в плачевном ее состоянии.

Да, российские немецкие писатели не смогли тогда создать заметных произведений. Но сказать это значит не сказать главного: они и *не могли* создать заметные

произведения, потому что *не имели возможности*. Причем даже те авторы, кто обладал необходимыми способностями. А если бы и создали, эти произведения всё равно не вышли бы в свет, так как «заметным» произведение национальной литературы могло стать лишь в том случае, если оно правдиво отражало жизнь, судьбу советско-немецкого народа, внутренний мир человека, прошедшего со своим народом через все репрессии и невзгоды, - а эта тема была, в течение 25 лет до высказывания Александра Геннинга и еще нескольких десятилетий после него, табу для нашей литературы, для нашей печати вообще.

О критике альманаха... Мне сейчас не припоминается какая-либо принципиальная, серьезная критика в адрес альманаха, в том числе и его языка. Запомнилось разве что разнузданное выступление Рейнгольда Кайля в «Volk auf dem Weg». Но это выступление трудно назвать литературной критикой; это больше политическая филиппика против всего, от чего он смог тогда уехать в Западную Германию, в том числе и против тогдашней литературы советских немцев, положение которой ему, конечно, было хорошо известно. Однако вместо того, чтобы *выступать против условий*, убивающих нашу литературу, он *добивал литературу* за то, что она еще не умерла в этих условиях. Типичный случай: вырвавшись из тисков системы, громить из прекрасного далека речью свободной тех, кому в этой системе зажали рот, - громить за то, что они не кричат о том, что им зажали рот...

Но независимо от того, была критика или нет, альманах не мог представлять читателю иную литературу, чем та, которая была тогда у советских немцев. Можно было, конечно, несколько поднимать уровень публикаций в альманахе в сравнении с общим уровнем литературы тем способом, которым пользуются все серьезные издания - более требовательным отбором произведений, возвышающим их редактированием (как это долго делал в отношении поэзии советских немцев Зепп Эстеррайхер в «Нойес лебен», правда, лишь в области формы) и большей требовательностью к содержанию, к его «национальному колориту», даже заказом автору произведения на определенную тему. Всё это мы и старались делать в альманахе. Насколько получилось? Смотрите альманах...

Что касается стилистического, языкового редактирования, то здесь проблемы были еще больше, чем у газеты «Нойес лебен»: там все материалы проходили через отдел стиля и переводов, и штатными работниками обеспечивался неплохой языковый уровень. Так же и в отделе литературы: стихи редактировал Зепп Эстеррайхер, а позже и Иоганн Варкентин, обеспечивая высшую тогда для наших изданий языковую обработку. И газетную прозу редактировали или в отделе стиля, или опять же Иоганн Варкентин.

У альманаха не было ни собственного штатного стилиста, ни переводчиков. И нам не могли помочь ни И.Варкентин, ни З.Эстеррайхер: когда начал выходить альманах, один уже ушел на пенсию, а второй по состоянию здоровья почти не участвовал в литературном процессе. Не мог помочь и отдел стиля «Нойес лебен»: художественная проза и поэзия - не газетные материалы; чтобы их редактировать, недостаточно хорошо знать язык, надо иметь еще и способности к художественной литературе, а также время: роман желательно редактировать, не отвлекаясь на другую работу, недели, а то и месяцы. Этого стилисты «Нойес лебен» не могли себе позволить, даже если бы обладали необходимыми способностями.

Поэтому, редактируя произведения по содержанию сами, мы для работы над стилем, языком привлекали специалистов со стороны. В том числе из граждан ГДР, работавших в Москве. Что порождало новые проблемы: нельзя было допустить, чтобы современная германская стилистика полностью подавляла советско-немецкую, а лишь корректировала ее. Обеспечить соблюдение необходимой грани бывало нелегко.

7. *«Художественное сопротивление и протест (Erwiderung) отсутствовали. Конъюнктурность (Opportunität) водила пером большинства литераторов...»*, - писал западногерманский литературовед Александр Риттер в 1991 г. *Оппозиционной немецкой литературы в Советском Союзе не было якобы и потому, что выражения недовольства никогда бы не было допущено. Как далеко заходили авторы в «запретное»? Действительно ли они покорно принимали идеологические установки в литературе?*

*В своей «Истории литературы российских немцев» (1999, Штутгарт) Иоганн Варкентин пишет: «у нас были удобные идеологические костыли». Был ли конформизм немецких авторов, их духовный коллаборационизм добровольным и желаемым? Можно ли сделать об этом вывод на примере содержания альманаха?*

Договоримся сначала о терминах. Если под сопротивлением и протестом подразумеваются *открытое, публичное* сопротивление и протест, т.е. в печати, публикациями против власти, против ограничений в печати и творчестве, установленных властью, т.е. фактически протест против власти, - то такое сопротивление и протест у советских немецких писателей действительно отсутствовали, это А.Риттер отмечает правильно. Однако этот вывод требует принципиального уточнения: отсутствовали не потому, что советские немецкие писатели были трусливее других, а потому, что открытое сопротивление и протест, даже «выражение недовольства», были просто невозможны в те времена, не допускались. Поэтому их не было не только в литературе советских немцев, но и во всей советской литературе и публицистике.

По этой же причине не было в стране (и у советских немцев) оппозиционной литературы. Если и публиковалось что-то оппозиционное, то только за рубежом. В самой же стране оппозиционность вообще, в т.ч. в литературе, в печати, были невозможны.

Вообще, надо помнить отправную для всякого разговора о творчестве в советские времена горькую истину: произведения могли публиковаться только те, которые поддерживали, оправдывали власть и партию и всё, что они делали. И основным критерием в литературной критике (и в политической цензуре) было соответствие произведения линии партии, затем уже шли другие критерии, чисто литературные. И если произведение не отвечало основному критерию, то оно считалось тем вреднее, чем талантливее было написано (пример: Александр Солженицын). Такова была наша действительность.

«Литература должна быть партийной» - прививали всем и в школе, и в вузе, в том числе и в Литературном институте будущим писателям и критикам. И кто неспособен был это понять и усвоить, кто не готов был этому подчиниться, тот не мог рассчитывать на признание и успех, даже если был талантлив. Все премии в государстве, все поощрения и блага давались только за произведения, соблюдавшие этот принцип, т.е. работавшие на партию, на партийную власть. И все наказания, вплоть до тюрьмы, давались за неследование этой главной установке партии, за свободомыслие.

(Один из последних самых известных примеров – Иосиф Бродский, отсидевший свое за то, что не хотел или не мог быть таким, как требовалось, и ставший потом Нобелевским лауреатом. Я лично не в большом восторге от Бродского, и считаю, что Нобелевская премия ему – больше политический акт, чем заслуженная оценка его творчества, но не могу быть согласным и с тем, что талантливого поэта сажают в тюрьму только за то, что он пишет иначе, чем нужно официальной власти).

Партийность литературы – это был незыблемый принцип. Хорошо помню, как в институте (я учился на редакторском факультете) после лекции именно по этой теме – статья Ленина «Партийная организация и партийная литература», я в перерыве подошел к преподавателю и с некоторой надеждой спросил: может быть, Ленин имел в виду всё же

только публицистику? Ведь не может же и художественная литература быть только партийной? Тем более, что ведь есть и беспартийные писатели?.. Одни мои сокурники тут же отодвинулись в сторонку; другие постарались продемонстрировать как можно громче свою идейную зрелость, насмешливо отвергая мои незрелые сомнения; третьи молча, с настороженным любопытством, ждали, что будет дальше.

Преподаватель наш был умница. Он выждал паузу, изучающе глядя на меня, потом спокойно и не без некоторого интереса объяснил, что *ленинское* требование относилось ко всей литературе, потому что у Ленина был *классовый* подход ко всему, в т.ч. и к литературе, и в борьбе за классовую победу *всё* должно было служить делу этой победы. О том, должна ли вся литература быть партийной и после достигнутой классовой победы, мы уже говорили с ним позже, без свидетелей...

Требования партийности были настолько жесткими, что обойти их не было никакой возможности. Еще пример из личного опыта. Дипломную работу я писал в 1970 году, в самом начале года. Старшее поколение советских людей помнит, что это был за год. Это был год 100-летия со дня рождения Ленина! И пропаганда ленинских идей была такой, что на эту тему было уже полно анекдотов, в частности, что жена включила утюг, чтобы погладить мужу сорочку, а из утюга зазвучали апрельские тезисы Ленина. О Ленине, о великой дате нужно было говорить, писать, к ней нужно было готовиться всем, по всей стране. И многие просто изнывали от этого пропагандистского беспредела, спастись от которого было немислимо нигде.

И вот в перечне использованной литературы при подготовке дипломной работы я *не указал ни одного произведения Ленина!* И это в год его 100-летия!

Мне действительно не понадобилось ничего «из Ленина», чтобы написать мою работу. Потому что она называлась «Приемы научной популяризации в монографиях Е.Тарле «Наполеон» и «Галейран»». Руководитель моей дипломной работы, обнаружив такое неуважение к великим датам, сначала понимающе улыбнулся, а потом терпеливо объяснил, что ссылки всё же необходимы; что обойти это невозможно, тем более в такой год; что без ссылок на Ленина работа не будет допущена к защите, а он сам, и не только он, получит соответствующее внушение за поощрение идейной незрелости; и что всё это надо просто воспринимать как обязательный ритуал...

Привожу эти примеры лишь чтобы показать, что, с одной стороны, система контроля не только за литературой, но за всей жизнью в стране, была тотальной; она жестко действовала даже на безобидном, казалось бы, уровне студенческой дипломной работы. Тем более она действовала на уровне, который считался чуть ли не передовой на идеологическом фронте – на уровне художественной литературы.

С другой стороны, даже на этих примерах можно увидеть, что неприятие того, что навязывалось всей стране, было активным у многих, даже у тех, кто должен был прививать другим официальную идеологию. Но выступить против установок этой идеологии не мог открыто никто. Накапливался лишь огромный внутренний протестный потенциал, который и привел в конце перестройки к необъяснимо (для посторонних) стремительному развалу и советской власти, и партии, и страны. А до этого момента ни недовольства, ни протеста не могло быть допущено. Тем более у писателей из советских немцев.

Заходили ли авторы в «запретное»? Конечно, заходили! Потому что для наших немецких авторов запретным ведь было практически всё, что касалось российских немцев: их история, их настоящее, их прошлая литература, их неравноправное положение, упоминание о том, что у них была автономная республика на Волге, что они были в трудармии, что работали там под конвоем, что были потом на спецпоселении... То есть практически всё национальное было запретным. Оставалось разрешенным для



«творчества» только восхваление той жизни, которой жил «весь советский народ», и то, что не имело связи с национальной сферой советских немцев.

Но если нельзя писать о главном для любого национального писателя – о национальной жизни своего народа; если нельзя писать, не игнорируя правду, не кривя душой, не отключив сердца, совести и разума, – то как может быть литература национальной? И что это вообще будет за литература?

Вхождение в «запретное» было постоянным – выше я уже говорил о романах и повестях, практически целиком посвященных запретному прошлому, истории российских немцев. Было, конечно, трудно «пробивать» публикацию таких произведений, защищать альманахи от обвинений в уходе в прошлое, в «перекося», в отсутствии «глубоких произведений о современной полноценной жизни советских немцев». Помогал всё тот же приём: «идеологически правильные» темы, рубрики и названия («Борцы за Советскую власть», «Den Sieg mitgeschmiedet», «Комсомольская юность»). И, конечно, показ патриотизма героев этих произведений. Пусть показ акцентированный, но патриотизма, как правило, искреннего – тут нашим писателям не надо было кривить душой.

Принимали ли наши писатели покорно идеологические установки и ограничения? Но если невозможен был открытый протест, если не было выбора путей в творчестве, если невозможно было творить вне заданных рамок, то оставалось лишь «покорно принимать», хотя бы внешне. Что переживали авторы на самом деле, когда не имели надежды опубликовать «непокорное» произведение (мне лично это хорошо знакомо – 15 лет не мог напечатать «Наш двор»), или вынуждены были душиить в себе само желание написать то, что явно не будет опубликовано – это уже другой вопрос.

А то, сколько «непокорного» было в сердце у многих, показали несколько лет перестройки – достаточно назвать Вольдемара Гердта (поэма «Wolga – Wiege unsrer Hoffnung»), Артура Германа (автобиографическая повесть о лагерной судьбе), Германа Арнгольда (стихи, которые никак не могли быть опубликованы в доперестроечное время).

Но до перестройки многие, на мой взгляд, воспринимали существующие ограничения уже чуть ли не как законы природы, против которых нет смысла протестовать: есть земное притяжение, и баста, не пытайся взлететь, бесполезно махая руками. Ведь вся страна жила в таком мире, и другого мира практически не знала. Поэтому вряд ли правильно будет говорить о конформизме, коллаборационизме (что вообще относится к другой сфере), и тем более об их добровольности. В трудармии люди работали за колючей проволокой, под конвоем, с одной стороны – под страхом смерти, с другой – осознанно на победу своей страны, которая их так жестоко репрессировала. Можно ли назвать и первый, и второй вариант целевой установки такой работы конформизмом и коллаборационизмом? Для меня это вопрос риторический.

Но ведь в идеологическом, политическом отношении ситуация для российских немцев и после войны практически не изменилась. Были сняты только видимые колючая проволока да конвой, но в идеологическом, политическом смысле они оставались: шаг влево, шаг вправо из подконвойной колонны – выстрел без предупреждения.

«Удобные идеологические костыли»?.. И.Варкентин может быть очень тонким критиком; в силу специфики своего характера, эрудиции и компетентности, он видит многое из того, что остается вне поля зрения других. Если он имеет ввиду, что в рамках идеологических запретов наша концлагерная, спецпоселенческая, подкомандатурская литература, дистрофичная от голодного пайка и удушающей атмосферы, использовала идеологическую же фразеологию для того, чтобы хоть таким образом делать какие-то шаги и не умереть на идеологических нарах, то образ идеологических костылей, на мой взгляд, удачен. Скорее, однако, над каждым постоянно висела идеологическая дубинка.

Конформизм, коллаборационизм как понятия имеют хотя и различное, но однозначно отрицательное содержание. У меня лично «не поднимается рука», чтобы предъявлять нашей литературе, нашим авторам такие обвинения. Наоборот, личный опыт, десять альманаховских лет самой тесной работы и общения с нашими авторами, возможность проследить их постепенное внутреннее освобождение от гнёта несправедливостей и унижений, через которые они прошли - *вместе со своим народом*, - заставляют меня склонить перед ними голову...

**8. В работах прежде всего западногерманских литературных критиков российско-немецкие авторы упрекаются в том, что они писали «в идеологических шорах». Готовы ли Вы как автор и редактор альманаха считать этот упрек правомерным и для себя? Могли ли авторы, которые не следовали политическим предписаниям или не соответствовали им, вообще пробиться на страницы газет и альманаха? Насколько значим был голос таких авторов?**

Я во многом могу согласиться с *наблюдениями* западных критиков, когда они говорят о нашей литературе: часто это очень тонкие, профессиональные замечания – и у Александра Риттера, и у Аннелоры Энгель-Брауншмидт... Но далеко не всегда могу согласиться с ними в *оценках* нашей литературы. Видимо, мы слишком из разных миров, и наши суждения о творчестве германских писателей наверняка будут для них тоже весьма далекими от их представлений. Наибольшее понимание нашей литературы проявляет, на мой взгляд, Ингмар Бранч; может быть, он сам является представителем литературы народа со схожей судьбой?

Мы писали не столько в идеологических шорах, сколько о жизни в идеологических шорах, точнее, даже не в шорах, а в узком идеологическом коридоре. Опубликованное в нашей литературе – это лишь то, что оставляла от нее советская идеологическая соковыжималка, для нас еще более обессочивающая, чем для других национальных литератур. Шоры – это ограничение лишь поля зрения. У нас же было ограничено поле всей нашей национальной и творческой жизни, причем до такой степени, которую себе нормальному человеку трудно представить. Но при этом мы многое видели без всяких шор, многое понимали и хорошо знали, через что мы прошли. В каждом из нас была, конечно, и внутренняя самоцензура, что было естественно в тех условиях. Но назвать это шорами никак нельзя. Мысль о шорах может возникнуть под впечатлением от того, что публиковалось, но неверна как оценка творческого процесса.

Зная страну, систему, условия, в которых они жили, советские немецкие писатели хорошо понимали, что не считаться с установленными правилами и порядками невозможно. И что соблюдать их надо не только для того, чтобы публиковаться. Опыт трудармейского и спецкомендатурного прошлого действительно подсказывал каждому: соблюдение предписанных правил – это вопрос жизни и смерти, и не только творческой жизни и смерти. Поэтому никто и не демонстрировал свою «оппозиционность».

К тому же писательская команда советских немцев была слишком мала, каждый «игрок» в ней имел значительно большее значение, чем в других, более многочисленных национальных литературах, и было бы даже безответственным спровоцировать нарушением правил своё удаление с литературного поля, еще более осложнив труднейшее положение команды.

Каждый понимал, что даже хранить что-либо «оппозиционное» в собственном письменном столе (если он, настоящий письменный стол, вообще был; я лично всё своё написал за кухонным столиком) - это значило подвергать риску и литературу, и свою семью, и себя. Тем более опасно было посылать такое по почте, да еще в редакцию, где уже в отделе писем материалы проходили первичную проверку и о выходящих за рамки

дозволенного докладывалось обычно главному редактору, который, если не был сотрудником КГБ сам, то имел регулярные контакты с КГБ по своей должности. Поэтому даже если у нас и были авторы, «не следовавшие» и «не соответствовавшие», то вряд ли можно было ожидать, что они об этом будут трубить. Так учила жизнь.

**9. В 1935 году германский поэт И.Р.Бехер в своем докладе «Рост и зрелость» обратился к литераторам из немцев Поволжья со словами, которые звучат как заветное: «Вам нельзя плутать в поэзии без идеала, с которого нужно брать пример. Вы должны найти себе примеры, которые вам соответствуют. Без примера примерного не создать... Народ – вот пример. Народ – лучшая школа простоты».**

**Какие примеры и ориентиры были у немецкой послевоенной литературы? Были ли попытки найти ориентиры (языковые и художественные) на западной немецкоязычной почве? В чём была проблема послевоенной российско-немецкой литературы: в том, что у нее не было литературных и духовных примеров, или ей не хватало талантов, которые обладали бы и мужеством писать так, как они думали и хотели? Были ли у Вас лично примеры в литературе?**

Впервые с творчеством И.Р.Бехера мне удалось познакомиться лет сорок назад: в Алма-Ате, на книжном развале на улице, я купил толстенный том, открывшийся почему-то на стихах о пленявшей меня в то время античности. Не помню, были ли в сборнике и какие-нибудь его статьи, но он до сих пор где-то хранится в моей библиотеке, каталог которой никак не соберусь составить. Однако если статьи и были, то можно сказать точно, что высказывания, адресованного авторам из немцев Поволжья, там в то время быть не могло.

Высказывание, видимо, было адресовано больше начинающим авторам. Потому что примеры для подражания нужны обычно на стадии учёбы. Зрелый автор подражать не должен, его ценность в собственной индивидуальности. И придти к жизненному выводу, что лучший пример для творческого человека – народ, потому что он – лучшая школа простоты (и естественности, добавил бы я) – для этого надо пройти определенный творческий путь.

Мне трудно ответить на вопрос, кто из наших авторов какие примеры для себя имел. Можно только предполагать, что наши старшие поэты (а до войны они были начинающими) могли подражать тогдашним своим старшим коллегам – «пламенным большевикам» типа Франца Баха. Для начинающих прозаиков примером мог быть Герхард Завацкий, хотя сам он был еще молодой для автора такого масштабного романа как «Wir selbst». Август Лонзингер, один из лучших писателей среди немцев Поволжья, вызывал восхищение почти у всех, кто был знаком с его произведениями, даже ещё в 1960-е годы; его роман «Nor net lopper g'gewa» будто предвосхищает совет И.Р.Бехера быть ближе к народу: более народного произведения в нашей литературе я не знаю. А его шванк «Ropp-Zopp» многие десятилетия был недостижимой вершиной для наших шванкистов и уже не может быть превзойден, потому что шванк как жанр, поддержав наш народ в нелегкие времена, сегодня вроде закончил у нас свою многовековую жизнь.

Вряд ли примером для наших авторов был кто-то из их послевоенных коллег. Виктор Клейн хорошо знал язык и лучше всех – народный язык, фольклор; для ряда наших авторов он был до войны и их уважаемым вузовским преподавателем; но в творческом отношении он был не очень активен и примерен. Определенную роль сыграла, на мой взгляд, глава из задуманного им романа о немцах Поволжья; глава называлась «Das letzte Grab» и была посвящена выселению немцев Поволжья. Автор прочитал ее своим коллегам на одном из первых семинаров советско-немецких писателей, и она осталась в памяти у многих. Подвинула ли она и других на то, чтобы обратиться в своем

творчестве к «запретному», трудно сказать, но об этой главе помнили и отзывались с уважением.

И. Варкентин не мог быть примером для других, потому что в языковом отношении был слишком для всех недосыгаем, а в шипенье его языково-пенистых бокалов-стихов многим недоставало тогда, вместо избыточной рефлексии, глубокого содержания, часто тогда и невозможного, которое пришло уже в более позднем его творчестве, заметно окрашенном стихотворной публицистикой.

Гораздо более значительными примерами для наших авторов могли быть, на мой взгляд, советские писатели других национальностей, в основном русские (например, кумиром Генриха Кемпфа в молодости был Маяковский). Несмотря на ограничения, советская литература всё же была очень сильна, не говоря уже о русской классике: было кому подражать, было с кого брать пример.

Труднее назвать кого-либо из западно-германских авторов, которые оказали бы влияние на нашу литературу. Те, которые были для наших авторов доступны, были доступны в основном потому, что не слишком противоречили своим творчеством основным идеологическим установкам в советской литературе; а те, кто противоречил, были недоступны. (Больше всего публиковался суховато-рационалистичный для нас Генрих Бёльль; значительно более близким, особенно художественностью своих произведений, был писатель из ГДР Эрвин Штриттматер; меня лично поразило своим могучим романом „Die Kreuzfahrer von heute“ Stefan Heim). Но общая проблематика западной литературы того времени, как и отход в ней (и в искусстве) от классической ясности и реализма в усложненное или опошленное формотворчество, делали ее для нас гораздо более далекой, чем понятная, наполненная общими для всех в стране проблемами, многонациональная советская литература.

Впрочем, проблема для наших послевоенных авторов была, по-моему, гораздо более сложная, чем для тех, к кому обращался И.Р. Бехер. Потому что после войны наши авторы не имели возможности даже подражать своим идеалам. Во-первых, потому, что большие писатели обычно многогранны, и их произведения наполнены проблемами, волнующими многих, а каким проблемам из жизни немцев могли быть посвящены произведения наших авторов, возьмись они подражать таким идеалам? Никаким. Потому что у советских немцев все проблемы были запретными, их официально попросту не было. И самих советских немцев после войны долгие годы «не было» - даже в переписях населения не указывались. До идеалов ли тут...

Главная проблема нашей литературы состояла не в том, были у наших авторов идеалы для подражания или нет; и не в том, хватало или не хватало им таланта и мужества писать так, чтобы и через десятилетия отвечать требованиям взыскательных критиков. **Главная проблема нашей литературы была в положении нашего народа. И в том положении у нашего народа не могло быть другой литературы. И не могло быть крупных талантов.** Потому что таланты должны иметь возможность реализоваться: ведь в творчестве, как и в спорте, развиваются только постоянным активным трудом, причем на пределе своего формирующегося потенциала. Такой возможности наши писатели были лишены.

Наши писатели не могли даже получить необходимое для профессионального творчества образование. Им (особенно старшему поколению) была не очень знакома мировая литература, русская классическая литература, часто и советская литература. Они не были включены в активный творческий процесс как писатели в других национальных литературах. И они не имели (до альманаха) даже нормальных гонораров. Литературным трудом они могли заняться более или менее постоянно лишь после ухода на пенсию. И – с началом выпуска альманаха.

Что касается меня, то, как и некоторые другие представители моего поколения, я был вынужден пройти несколько иной путь. Я не смог учиться в немецкой школе, потому что немецких школ для нас уже не было, и до сих пор не могу свободно писать по-немецки: в основном я не производитель, а лишь потребитель немецкоязычной продукции. За отсутствием других возможностей, я рано увлекся русской литературой, окунувшись в прекрасную русскую поэзию настолько, что часто мог по нескольким строчкам определить если не самого автора, то к какому десятилетию за 18-20 вв. эти строчки относятся. И бросив институт, где учился на радиотехническом факультете, я поступил в другой институт на редакторский факультет, где программа по мировой и русской литературе, русскому языку и стилистике была такой, что после окончания этого факультета в Литературный институт уже не принимали, потому что программы были схожи.

Мне повезло еще и тем, что я рано познакомился с И.Варкентином, и через него приблизился к нашей литературе и – к движению за восстановление нашей автономии. А в этом движении я сразу же оказался на переднем крае – в первых двух делегациях. И это дало настрой на всю жизнь, что потом привело меня и в газеты советских немцев, в их литературу, в альманахи и до сих пор не отпускает из движения российских немцев.

Мне повезло и тем, что благодаря А.Дебольскому я смог своевременно понять, что означал в тогдашней советской литературе журнал «Новый мир», его великолепная литературная критика, публицистика, не говоря уже о его прозе. А благодаря мощной русской классике и не менее мощной русской критике 19-го века – Белинскому, Чернышевскому, Добролюбову, Писареву – смог узнать и могучие требования к литературе, к ее роли и предназначению.

Всё это со временем сошлось вместе. И так как наша главная цель: полная реабилитация нашего народа, восстановление его равноправия и государственности, - оставалась главной для меня всегда, то практически всё, что я писал, я подчинял (наверное, так же утилитарно, как автор требования партийности литературы) достижению этой цели. Так что меня вполне можно назвать ангажированным автором: писать о чем-то кроме как о российских немцах, в защиту российских немцев и в интересах российских немцев, я считаю для себя непозволительным до сих пор. И хотя я всю жизнь очень переживал из-за недостаточного знания немецкого языка, сегодня всё же могу найти утешение в том, что знание русского языка позволило мне сделать и для нашей литературы, и для нашего национального движения гораздо больше, чем позволило бы сделать только хорошее знание немецкого языка.

А что касается примеров и идеалов, избранных мною для себя лично, то трудно назвать кого-либо одного: мировая, русская, немецкая литературы так богаты сияющими вершинами, что поклоняться лишь одной из них можно, только не зная других. При встрече с великими каждый из них кажется «самым-самым». Но наиболее близки мне (однако не для подражания) Герман Гессе (его «Степной волк» потряс меня в советские времена) и Кнут Гамсун. По «Фаусту» Гёте я как-то в течение двух месяцев проходил курс совершенствования немецкого языка, окончательно разочаровавшись после такого детального знакомства с оригиналом в переводе Пастернака и еще раз восхитившись почти адекватным переводом Холодковского. Из советско-немецких авторов высоко ценю фактически задушенного Советской властью Августа Лонзингера; так и не реализовавшего полностью свой талант Герхарда Завацкого; граждански чутко реагирующего на всё, как Эолова арфа, и вершинного в языке и форме Иоганна Варкентина; чрезвычайной творческой и человеческой чистоты Вольдемара Гердта; удивительного самородка Александра Бекка; подававшую большие надежды Ирену Лангеман...

Но за всю свою жизнь я так и не смог себя заставить прочитать целиком «Анну Каренину» или «Будденброков»: нехудожественность их начальных страниц останавливала меня намертво. Теперь уже вряд ли удастся прочитать...

**10. Как формировался авторский коллектив альманаха, как складывалось Ваше сотрудничество с авторами? Могли ли Вы пользоваться литературным архивом «Нойес лебен»? Или Вы сами искали своих авторов?**

**За 1981-1990 годы ряд авторов послевоенной литературы ушел из жизни. Что случилось с их литературным наследием? Смогли ли Вы опубликовать что-то из него?**

С самого начала альманах мог опираться только на тех авторов, которые годами публиковались в газетах российских немцев, поэтому основной состав авторов у альманаха и «Нойес лебен» был общим. Когда началась подготовка первого номера альманаха, мы обратились к нашим писателям с вопросом, что они могли бы предложить для публикации в этот номер и что можно ожидать от них для будущих номеров? Стремясь показать нашу литературу в ее лучших достижениях, мы в первую очередь обращались к тем, чей творческий потенциал позволял надеяться на желаемый результат.

Сотрудничество с авторами у нас складывалось, на мой взгляд, в основном хорошо. Это можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, альманах был изданием, в котором наши неизбалованные авторы открыли для себя возможности для публикации, о которых раньше не могли и мечтать. Во-вторых, опубликоваться в журнале всегда «почетнее», чем в газете; такая публикация входит в историю. В-третьих, в альманахе публиковались произведения не ниже определенного уровня, и публикация в нем становилась фактически признанием наличия у автора соответствующего уровня. И в-четвертых, о чем уже говорилось: в альманахе были *журнальные* гонорары, что для наших авторов имело большое значение и стимулировало серьезное творчество. Так что со стороны авторов отношение к альманаху могло быть вполне заинтересованным.

Но и у альманаха интерес к авторам был не меньше. Чтобы получить нужные по содержанию и уровню произведения, необходима серьезная работа с авторами – и в выборе темы, и в процессе написания произведения, и после его получения в редакции. Полагаю, мы оказывали авторам помощь, которая была полезной. Кроме того, наши критерии, наша моральная поддержка способствовали ослаблению внутренней цензуры, а значит, и более полному раскрытию потенциала автора. У меня до сих пор остались хорошие впечатления от той совместной работы.

К сожалению, были и исключения (не говорю о графоманах – такие тоже встречались в нашей небогатой литературе). Хотя мы старались представить в альманахе авторский состав нашей литературы наиболее полно, некоторые годами не могли создать ничего на требуемом уровне, и так и остались без публикаций в альманахе. Досадно, что в их числе долго находился очень хороший, на мой взгляд, поэт Фридрих Больгер. Несмотря на неоднократные обращения к нему, он не мог нам предложить ничего нового (перепечаток мы не делали). Потом предложил нам неплохие переводы из Есенина, но переводы мы вообще не публиковали (это активно делала «Нойес лебен»), чтобы максимально стимулировать создание оригинальных произведений. Потом, видимо, несколько раздосадованный неудачами, Ф.Больгер прислал нам довольно язвительное письмо, в котором писал, что исчеркал красным карандашом какой-то из опубликованных у нас материалов. Хорошо зная, как болезненно относились авторы к «красному карандашу», которым их тыкали носом в каждую погрешность при одном из руководителей отдела литературы «Нойес лебен», я ответил Ф.Больгеру в том духе, что красный карандаш разумнее бы убрать из отношений авторов с редакцией, потому что он не лучший стимул для творчества и для взаимоотношений. Как значительно позже передала мне при встрече его вдова, он был обижен моим письмом. Мне до сих пор жаль,

что не смог тогда своевременно уладить в общем-то малозначащий конфликт. В альманахе Ф.Больгер представлен только небольшой юмористической пьеской.

Литературного архива в момент создания альманаха у «Нойес лебен» не было, поэтому воспользоваться им мы не могли. Архив возник впервые в альманахе, и мы давали иногда что-то для публикации в «Нойес лебен»; к тому же газета, как правило, публиковала фрагменты из произведений выходящего номера альманаха: ее тираж был значительно больше, и это одновременно было популяризацией альманаха.

После ухода из жизни ряда писателей у них действительно осталось что-то незавершенное, неопубликованное, переписка. На мой взгляд, это представляло большую ценность для нашей литературы. Однако создать надежный архив тогда не было возможности. Практически всё зависело от личной инициативы редакций. Так, когда ко мне обратилась дочь Августа Лонзингера, у которой осталось несколько тетрадей и книг отца и которая не знала, что с ними делать, мы выразили готовность принять их у себя. Я потом даже дал перепечатать одну из книг Лонзингера с готическим шрифтом на латиницу, чтобы при первой возможности переиздать ее; но не получилось до сих пор.

Драматична судьба архива Виктора Клейна. Была создана специальная комиссия по обработке его архива (в ней участвовали Эвальд Катценштейн, Александр Гассельбах и Лео Маркс), она всё разобрала, описала, потом это всё было передано в отдел литературы «Нойес лебен» и хранилось там, пока заведовал отделом Виктор Гердт. Я взял несколько папок посмотреть, можно ли что-нибудь опубликовать в альманахе. Но достаточно готового почти ничего не было, мы опубликовали только повесть «Der Siwwetersprung», наполненную сочным диалектом. Когда же началась чехарда с газетой «Нойес лебен» (она была сначала приватизирована, потом переходила из рук в руки всё более далеким от литературы людям) и после прекращения выхода альманаха судьба архива в редакции уже никого не интересовала. И хотя я не раз обращался к владельцам газеты с предложением передать в Международный союз российских немцев, который я возглавлял, ненужный им архив, он так и не был сохранен. От наследия Клейна остались теперь только те папки, которые я взял когда-то в альманах.

И - остался весь архив альманаха: оригиналы, правки, готовые тексты, переписка. Что и составляет сегодня мою проблему в моей однокомнатной квартире, где кроме этого еще несколько тысяч книг личной библиотеки, а также значительная часть архивов первого общества российских немцев «Возрождение», где я был сопредседателем, Оргкомитета по подготовке первого съезда советских немцев, где я был заместителем председателя (Б.Раушенбаха), часть архива Государственной комиссии СССР по проблемам советских немцев, членом которой я был, и Международного союза российских немцев...

Архив Доминика Гольмана имел наиболее счастливую судьбу: дочь писателя, Ида Бендер, и его внук, Рудольф Бендер, трепетно относятся к его наследию, издали даже несколько его книг, что вызывает искреннее уважение.

Неизвестна судьба архива Александра Реймгена. Я заказывал ему воспоминания о его жизненном и творческом пути, и он подготовил их, но почему-то писал обо всём будто стесняясь, с изрядной долей самоиронии. Я попросил его переработать всё, потому что, на мой взгляд, воспоминания несли в себе ценный материал, который будет иметь значение для лучшего понимания нашей литературы в будущем, особенно те места, где речь шла о семинарах наших писателей. Он согласился со мной и попросил вернуть ему материал на доработку, чтобы «слабые» воспоминания не попали в чужие руки. Мы выслали ему рукопись, но вскоре прекратился выход альманаха, ушел из жизни и автор.

Не знаю также подробностей о судьбе архива Вольдемара Эккерта, главного историка нашей литературы. У него были наработаны серьезные материалы – об этом у

нас тоже шла оживленная переписка. Несколько лет назад нам удалось опубликовать по предложению VDA сборничек стихотворений В.Эккерта: с просьбой об этом обращалась к VDA вроде дочь В.Эккерта. Если это так, то, возможно, и его архив находится в надежных руках.

**11. *Ваша собственная повесть, «Наш двор», смогла быть опубликована в «Хайматлихе вайтен» лишь в 1984 году, через 15 лет после ее написания. А целиком даже лишь в 1988 году в «Нойес лебен». Это был единственный такой случай?***

*Роман Герхарда Завацкого «Мы сами» впервые был полностью опубликован в альманахе. Есть ли еще такие примеры? Удалось ли Вам за почти десять альманаховских лет открыть новые имена в нашей литературе?*

*Сколько произведений было отклонено, и по каким причинам, в газетах или альманахах? Были ли в портфеле альманаха произведения, которые годами не получали разрешения к публикации? Как функционировала политическая цензура; откуда, из каких инстанций, осуществлялось давление?*

Мне не известны истории, подобные истории с моей повестью «Наш двор». Она началась в 1970 году, когда я предложил «Нойес лебен» первую главу повести, «Папин след», как законченный рассказ. Оценили рассказ очень хорошо, но опубликовать его, конечно, не смогли. В качестве варианта, как сделать его «публикабельным», предложили мне переделать его: отец-дистрофик вернулся умирать к семье в Сибирь не из трудармии, а из фашистского концлагеря. Знаменательное предложение, но не для меня...

В жизни я постоянно убеждаюсь в том, что практически любое явление имеет обратную сторону. Так и здесь: есть и положительное в том, что рассказ не был тогда опубликован. Это позволило дописать еще несколько глав, превратить рассказ в небольшую повесть и сделать эту повесть гораздо более отражающей судьбу нашего народа. Когда я потом предложил для публикации уже всю повесть, реакция была такая же: хорошо, но нельзя. (Главный редактор «Нойес лебен», Г.Пшеницын, даже высказал прогноз: лет через двадцать можно будет опубликовать. Он ошибся на пять лет, и то не совсем: опубликовать еще было нельзя, но удалось...).

Повесть в начале 1970-х была прочитана и в ЦК КПСС, куратор газеты также отозвался о ней очень тепло, но, согласно существовавшим правилам самозащиты высшего партийного органа, заявил, что он не специалист в художественной литературе, поэтому ответ мне даст главный редактор журнала «Советский Союз». Встреча с этим редактором была несколько странная. Наверное, потому, что перед ним была поставлена задача объяснить мне, почему повесть нельзя опубликовать, а он как писатель не мог найти убедительных аргументов; аргументы же, которые он использовал, для меня как редактора по образованию, которого готовили профессионально оценивать достоинства и недостатки рукописи и профессионально ее редактировать, были весьма неубедительны. Но от этого заказанный итог встречи не стал иным...

Второй раз я предложил эту повесть для публикации – уже в альманахе – в 1984 году, т.е. когда перестройкой в стране еще и не пахло. Дело в том, что альманах был официально литературным приложением к газете «Нойес лебен», и вопрос: что и кого печатать в нем, окончательно решал главный редактор газеты. В то время это был еще В.Цапанов, у которого отношения с профессиональным и национальным составом сотрудников газеты и альманаха, мягко говоря, не сложились, в том числе и со мной, может быть, особенно со мной. Предложить в этой ситуации любое мое произведение в альманахе, тем более *такую* повесть, было рискованнейшей авантюрой: указать настоящего автора – значит обрушить на себя новый шквал политических обвинений и быть уволенным сразу; подать повесть под чужим именем, пользуясь



неинформированностью главного редактора, означало только отсрочить обвинения и увольнение, усугубив свою вину тем, что «обманным путем» опубликовал запрещенную в ЦК КПСС повесть. В любом случае – расплата придет.

Но ситуация в редакции всё равно вела однозначно к тому, что многим из нас придется уйти, если не будет снят главный редактор. И я предложил повесть на утверждение главному редактору под чужим именем...

Повесть он одобрил, что свидетельствовало о его недостаточной компетентности для такой должности, на что я и рассчитывал.

- Молодец, сукин сын! Здорово написал! - сказал он, возвращая мне папку со всеми материалами для очередного номера, куда была вложена и повесть. - А кто автор-то? Что-то я не слышал о нем раньше.

- Да я сам ничего не слышал о нем. Из биографических данных видно только, что это какой-то учитель из Киргизии.

Так повесть получила «добро», и теперь вся ответственность за будущий результат публикации лежала полностью на мне: обман всё равно вскроется...

Впрочем, «добро» тоже было еще не гарантированное. Дело в том, что подготовленные к публикации материалы альманаха должен был по распоряжению В.Цапанова читать также Виктор Гердт, заведующий отделом литературы «Нойес лебен» - для надежности. Но Виктор Гердт хорошо знал и нашу литературу, и наших авторов. И он сразу предположил, что с «новым автором» тут что-то не так. Он пошел и проверил картотеку отдела писем; естественно, такого автора он там не обнаружил. Я сказал, что повесть пришла не по почте, а её занесли нам в редакцию лично, однако В.Гердта трудно было провести. Он к тому же хорошо знал и мой стиль, и мою позицию в проблеме советских немцев, поэтому, смеясь, предложил мне признать то, о чем он сразу догадался: что автор – я... (Вообще Виктор Гердт со своей внешне вроде бы нейтральной, по сути же вполне определенной позицией в редакционной схватке сделал немало для нашей литературы, для сохранения в «Нойес лебен» национальной тематики, для поддержки сотрудников-немцев). Теперь оставалось только надеяться, что ни он, ни еще два сотрудника редакции, бывшие в курсе дела, не допустят катастрофической утечки информации. Надо ли говорить, в каком состоянии мне пришлось прожить полгода подготовки очередного номера?..

На последней стадии выпуска альманаха я заменил имя, фото и биографическую справку автора. Так повесть увидела свет немного раньше, чем предсказывал Г.Пшеницын. Повезло и в том, что незадолго до выхода этого номера был, наконец, отстранен от должности В.Цапанов, иначе это был бы последний номер, который я выпустил. Тем не менее, вокруг этой публикации потом развернулась еще целая история, о чем, может быть, удастся когда-нибудь тоже рассказать...

Не могу здесь обойти только один момент: «литературно-критическое» выступление того же Р.Кайля об этой повести. В его объемистой книге о том, как умён и хорош он сам и как глупы другие, оно занимает всего 11 строк, и повесть „Unser Hof“ называется там „Unser Dorf“, и посвящена она, оказывается, деревенской теме, и построена она, по Р.Кайлю, на снах автора, которые автор трактует «на свой вкус и лад», и что лучше бы автор сказал о том, „wie es nun wirklich war, das Leben im Dorf“.

После такой демонстрации рецензентом своего литературно-критического метода я уже с гораздо большим пониманием смог воспринять другой его пассаж, где он на том же достигнутом за долгую жизнь уровне даёт характеристику мне лично: что у меня лишь имя немецкое, а сам я русский; что я по-немецки и трех букв не могу написать (как только меня в редакциях немецких газет 25 лет терпели! – это уже не Кайль, а я сам восклицаю);

что в делегациях я выполнял лишь «партийное задание»; что и в «Нойес лебен» попал по «партийному заданию»... В общем, весьма насыщенные 11 строк.

Р.Кайль не останавливается на том, оказались ли член партии и участник второй делегации К.Вельц, писатель и участник двух делегаций Доминик Гольман и сам Р.Кайль в редакции «Фройндшафт», а беспартийные члены делегаций И.Варкентин и К.Видмайер еще до меня в «Нойес лебен» - тоже по «партийному заданию»; видимо, рассмотрение этого факта требовало уже непосильного напряжения ума. Но если бы автор всё же поднатужился, то, возможно, смог бы обнаружить одну простую истину: что среди советских немцев всегда были, и остаются сегодня, люди, для которых главная «партия» на Земле – их народ, и которым не нужно никаких указаний – в самой экстремальной ситуации даже этой «партии», - чтобы действовать в ее интересах. И что к этой «партии» относилось не только большинство наших писателей, но и сотни, тысячи активистов национального движения – в любое неблагоприятное время, а не только после выезда на «историческую родину».

И ведь на таком уровне Р.Кайль высказывался обо всей нашей литературе, обо всех наших авторах, не гнушаясь заведомой неправды! Как после этого не придти к выводу, что намордник цензуры для некоторых ревнителей свободы словоизвержения всё же может оказаться полезен – хотя бы для ограждения истины от агрессивного-нетерпимого дилетантства!..

Публикация другой моей повести, «Имя вернет победа», за десять лет до этого в газете «Нойес лебен» была остановлена также по указанию из ЦК КПСС. Меня вызвали туда (что было исключением из правил: замечания и внушения делались обычно руководителю газеты, а тот уже употреблял свою власть в соответствии с полученным указанием), редакционное начальство восприняло это, естественно, как свой «прокол» и с тревогой готовилось к оргвыводам. Оказалось, что один бдительный нештатный корреспондент из Средней Азии, бывший трудармеец, прочитав в газете начальные главы документальной повести о Пауле Шмидте, который из трудармии сбежал на фронт и, взяв себе чужую фамилию, дошел до Берлина, был награжден орденом – написал в ЦК КПСС возмущенное письмо о том, что центральная газета советских немцев, издание «Правды», восхваляет на своих страницах дезертира с трудового фронта...

В ЦК по этому письму и состоялся со мной разговор. Мои объяснения о том, что дезертировать на фронт, чтобы умереть за Родину под чужой фамилией – это несколько необычное дезертирство; и что награды, полученные фронтовиком, тоже не вяжутся с дезертирством, - были, видимо, сочтены приемлемыми для дальнейшего объяснения начальству: повесть, в которой впервые говорилось о трудармии и об участнике войны - советском немце, который смог попасть на фронт только под чужой фамилией, разрешили допечатать до конца...

В обоих этих случаях главную роль в привлечении к повестям внимания на высшем уровне сыграло, конечно, то, что вторжение в «запретное» совершено было слишком глубоко для того времени.

Трудности в альманахе были и с произведениями ряда других авторов, но в них не всегда были «виноваты» сами авторы: заказывая им материалы на нужные темы, мы просили писать без излишней самоцензуры – лучше мы в редакции сами смягчим потом то, что вызовет противодействие. Так возникли претензии цензуры к статье Германа Колоярского «Изобразительное искусство в АССР немцев Поволжья» - ведь АССР НП вообще нельзя было упоминать. Трудности были с публикацией документальных повестей Артура Германа о лагерной жизни и Фридриха Сиптица о выселении московских немцев и их жизни на спецпоселении в Казахстане. Трудности были даже с публикацией романа Герхарда Завацкого, но уже другого плана: в романе, написанном в тридцатые годы, автор, конечно, никак не мог не упоминать имени Сталина, а в 80-е годы это имя,

наоборот, нельзя было упоминать, поэтому главный редактор «Нойес лебен» просто вычеркнул в романе всё, что было связано с этим именем (это к сведению литературоведов и критиков).

Вообще трудно проходило практически всё, что затрагивало прошлое и настоящее советских немцев и отличалось равнодушием к их судьбе. То есть как раз то, что альманах и старался публиковать.

О том, были ли еще примеры длительной задержки публикации как у повести «Наш двор», мне не известно. Полагаю, что если бы такие произведения были написаны, то авторы обязательно предложили бы их альманаху, особенно в годы перестройки. Но ничего не поступало.

Также мне трудно предположить, чтобы в альманахе было что-то отклонено по идеологическим соображениям. Главные критерии и в альманахе, и в «Нойес лебен» касались всё же художественного уровня произведения. Если он был приемлем, то произведение готовилось к печати, а «трудные места» потом корректировались в соответствии с указаниями цензуры – как и в других изданиях. Однако это было не так часто. По-моему, наши авторы сами были реалистично сдержанны, порой даже излишне, по инерции; идеологические возможности публикации расширялись в альманаховские годы быстрее, чем некоторые авторы внутренне перестраивались.

Цензура осуществлялась на разном уровне и разными службами. Основой цензуры были, конечно, идеологические установки партии: они были общими для всей страны и осуществлялись на всех уровнях; в редакции их должны были соблюдать неукоснительно. Главным политическим цензором любого издания был его руководитель – главный редактор, который отвечал за соблюдение идеологических установок в своей газете или журнале перед райкомом партии (районная газета, например, «Роте Фане» на Алтае), перед обкомом (областная газета), перед ЦК КП союзной республики (республиканская газета, например, «Фройндшафт» в Казахстане) и перед ЦК КПСС (центральные издания, в т.ч. «Нойес лебен»).

Наряду с такой системой политической цензуры была система официальных органов цензуры – «Главлит», которая следила уже больше за сохранением государственной тайны. Были специальные списки сведений, и если в газетном материале (а все газеты перед выходом в свет просматривались цензором) упоминались населенный пункт, месторождение полезных ископаемых или имя какого-либо «закрытого» ученого, не находившиеся в списке разрешенных к публикации, то следовало указание убрать их из материала.

Была еще чисто военная цензура, в которую направлялись материалы о войне, военнослужащих, боевых действиях, участниках войны, подполья и т.д.

Так что система цензуры была фундаментальной во всей стране...

Открыл ли альманах новые имена? Как ни странно, да, и для нашей небольшой литературы немало. Так, впервые в альманахе выступил сразу с романом Вильгельм Брунгардт из Новосибирска, дотоле никому не известный, причем с романом, вызвавшим удивление своей художественностью и языком. (Позже мне стало известно, что автору очень помог в подготовке текста его друг Петер Герман, но в публикации это не было отражено, и я упоминаю об этом для будущих исследователей нашей литературы – возможно, они смогут точнее определить степень его участия и помощи в подготовке этого произведения; более подробной информацией может располагать здесь наша поэтесса Хильдегард Вибе, хорошо знавшая обоих).

Впервые выступил с документальной повестью Фридрих Сиптиц, раньше (и позже) вообще не писавший для наших газет или альманахов: он написал эту повесть по моему предложению, и так как он не был журналистом или писателем, то потребовалась большая редакторская работа, однако содержание повести стоило этих усилий. Как серьезный писатель впервые выступил в альманахе и Артур Герман, до того работавший несколько лет в редакции «Фройндшафт».

Иосиф Капп, Эрих Онгемах, Карл Шиффнер, Корнелиус Нойфельд, Теа Эмих, Иван Сартисон, Абрам Варкентин, Герман Колоярский, Ингрид Соловьева-Волынская... - для нашей литературы и журнальной публицистики это были часто совершенно новые имена, хотя некоторые из авторов были известны читателям из наших газет.

В портфеле редакции были произведения и других новых авторов, но опубликовать их мы уже не успели.

***12. В критических работах о российско-немецкой литературе среди прочего отмечалось отсутствие в большинстве произведений послевоенного времени даже малейшего национального колорита. Что говорит об этом Ваш опыт из 1981-1990 годов? В чём, на Ваш взгляд, была причина того, что произведения немецких авторов не могли так безоговорочно быть «национальными»? Как менялась ситуация со временем?***

Национальный колорит, если под ним понимать показ национальной жизни, национальных проблем, национальных особенностей поведения, был только в произведениях о дореволюционном и довоенном прошлом (по альманаху это хорошо видно по романам и повестям Г.Завацкого, В.Брунгардта, А.Закса, Р.Кельна, А.Реймгена). В прозе о послевоенном времени этого национального колорита действительно нет – критики правы. Почему нет – мы уже затрагивали этот вопрос.

Нет потому, что с 28 августа 1941 года национальная жизнь нашего народа в ее обычной, нормальной форме закончилась. И началась национальная жизнь в той форме, о которой ни говорить, ни писать, ни тем более публиковать что-то было нельзя.

Составляющими этой новой формы национальной жизни российских немцев были депортация, трудармия, спецкомендатура, отсутствие государственности, равноправия с другими народами страны, дискриминация по национальному признаку, отсутствие компактного проживания, национальных школ, газет, учреждений культуры, вообще условий для нормальной национальной жизни. Обо всём этом новом содержании нашей «национальной жизни» писать было запрещено. А другой «национальной жизни» у советских немцев не было. Какого же «национального колорита» можно было ожидать от писателей и журналистов? И в чём их можно упрекать в таких условиях?

Не удивительно, что в произведениях о современности их герои - советские немцы имели лишь одну «национальную особенность»: немецкую фамилию, да иногда еще и немецкое имя – у персонажей старшего поколения. Это особенно хорошо видно также в произведениях Александра Реймгена, который больше других писал о современности. Ну, и такие немецкие черты как трудолюбие, аккуратность, порядок в доме могли у героев быть – в список сведений, составлявших военную тайну, они не входили.

На мой взгляд, главный «национальный колорит» нашей послевоенной литературы заключается как раз в полном отсутствии в ней национального колорита, что было если не криком, то безголосым воплем нашей литературы об отсутствии у народа и малейших признаков нормальной национальной жизни. Воплем о том, что вместо этой нормальной национальной жизни государство определило народу такую деформированную, бесправную, не соответствующую даже законам и официальной политике самого

государства, жизнь, что государство же десятилетие за десятилетием запрещало об этой жизни вообще что-либо писать...

Ситуация в литературе *о современности* не менялась практически до самой перестройки. Литературе же о прошлом удалось со временем значительно раздвинуть даже не рамки, а игольное ушко, установленное с самого начала цензурой для всей нашей литературы. В этом я вижу заслугу наших авторов, особенно старшего поколения: внутренний протест при соблюдении внешнего жесткого этикета идеологической лояльности оказался не напрасен...

**13. «Советско-немецкая литература существует на голом энтузиазме. Каждый пишущий – своего рода активист с устремленным в будущее сознанием, который верит, что он сможет сохранить еще тлеющий огонь до тех пор, когда будут созданы все условия для успешного развития этой литературы...», - сказал Вальдемар Вебер в 1990 году на семинаре «Советско-немецкая литература сегодня» в Берлине, на котором, кстати, были и Вы.**

***Вы тоже так считаете? Каков Ваш опыт здесь как редактора «Хайматлихе вайтен»?***

Вот в этом высказывании уже чувствуется знание проблем нашей литературы изнутри: В.Вебер смог увидеть в болезненной форме нашей литературы не вину ее, а беду. Хотя высказывание и не очень характерно для раннего В.Вебера, который пришел в литературу советских немцев уже с большим опытом и знаниями через русскую литературу, но по сути оно верно - если под «голым энтузиазмом» понимать отсутствие всякой поддержки литературы. Могу только немного дополнить его.

На мой взгляд, нашими писателями (пусть не всеми) двигала глубокая боль за свой народ. Это видно даже по их активному участию в движении за полную реабилитацию и восстановление государственности российских немцев. (Р.Кельн, И.Варкентин, Д.Гольман, К.Вельц были членами первых, самых рискованных делегаций в 1965 году и крепко поплатились за это; позже принимали участие в движении также Г.Бельгер, К.Эрлих, А.Крамер, А.Гассельбах, Р.Вебер, В.Вебер...). Болью за свой народ были проникнуты опубликованные уже в начале перестройки произведения Вольдемара Гердта, Вольдемара Шпаара, Германа Арнгольда, Артура Германа...

Да, они жили с надеждой, что их народ когда-нибудь всё же будет реабилитирован, когда-нибудь да получит равные права и возможности с другими народами страны, получит условия для нормальной национальной жизни, и тогда и их родная литература опять сможет стать полноценной литературой: поддерживаемой своим народом, пишущей о своем народе и творящей для своего народа. Надежда эта не оправдалась до сих пор. Но она помогла нашей литературе выстоять, помогла дожить до времени, когда можно было уже открыто излить боль своего народа, помогла ей не оторваться от своего народа, а вместе с ним десятилетия прожить на голодном трудармейском национальном пайке, заботясь друг о друге и поддерживая друг друга, неся общие тяготы.

Мы были близки, мы были очень близки к решению нашего вопроса, и произойди это, мы имели бы сегодня уже совсем другие условия и для нашей литературы. Но последнего шага мы от руководства страны так и не дождались. Мы дожили только до того времени, когда полувековые запреты для нашей литературы рассыпались и отпали, и она еще успела немного показать, какой бы она могла быть и раньше без этих запретов. «Национальный колорит» в ней зафонтанировал вдруг с невиданной до этого силой, хотя бы в двух аспектах: резкий протест против несправедливостей в прошлом и глубокая боль за положение народа в настоящем.

Тут в нашей литературе и стали, наконец, видимыми скрытые ранее несогласие с официальной политикой, протест, неприятие, которых не мог, конечно, обнаружить в ее доперестроечном спецкомендатурском периоде ни Александр Риттер, ни мало кто другой.

***14. Российско-немецких авторов упрекают среди прочего в том, что когда упал «железный занавес», в их письменных столах обнаружилась пустота. У Вас как издателя тоже было такое впечатление? Всё же альманах выходил в десятилетие, когда начались судьбоносные политические перемены.***

***Если да, то что, на Ваш взгляд, было причиной: не было настоящих авторов, или политическое давление, страх и внутренняя самоцензура были так сильны, что авторы даже не пытались касаться в своем творчестве «запретной сферы»?***

Сначала надо определиться, когда и какой «железный занавес» для нашей литературы упал.

Если считать, что занавес упал в 1985, с началом перестройки, то это рановато. Редакцию «Нойес лебен» в то время (и еще несколько лет) возглавлял пришедший на смену В.Цапанову В.Чернышёв. Он был до этого собкором «Комсомольской правды» в Германии, и возвращение на работу в СССР, да еще в газету каких-то советских немцев, воспринимал по всему как личную трагедию. Своей главной задачей на новом посту он, насколько можно было видеть по его «руководству», видел в том, чтобы доказать начальству, что политически и идеологически он по-прежнему достоин работы в странах «загнивающего капитализма». Поэтому он пуще огня боялся допустить с этими советскими немцами какую-нибудь ошибку, могущую воспрепятствовать его дальнейшей карьере, и все свои силы сосредоточил на борьбе с теми, кто полагал, что перестройка распространяется и на советских немцев, на их печать. Борьба была на уничтожение, методы применялись самые грязные, из редакции вынудили уйти почти весь основной творческий состав, и так как в немецкой газете за проблему советских немцев выступали в первую очередь сотрудники-немцы, то они в основном и выбивались из редакции.

Газета «Нойес лебен» при такой политике отставала от процесса перестройки и перемен в общей советской печати минимум на два года. А атмосфера в редакции не только была неизмеримо хуже, чем в брежневские времена, - она по мракобесию и охоте на «идеологических противников» очень напоминала мрачные 30-е годы. Сегодня это даже трудно представить себе, *какой* она была...

Альманах, как уже говорилось, подчинялся главному редактору «Нойес лебен», причем не только идеологически, цензурно, но и во всех остальных вопросах. В этой обстановке начатый и развивавшийся в нашей литературе после открытия альманаха процесс постепенного расширения прежних идеологических рамок, завоевания всё новых тематических и «национально-колоритных» позиций пришел в особенно острое столкновение с политикой главного редактора «Нойес лебен» и с теми процессами, что шли в редакции газеты.

Поэтому «железный занавес» для нашей литературы как в альманахе, так и в «Нойес лебен» не только не упал в первые годы перестройки, а наоборот, стал еще более «железным».

Если же под «железным занавесом» понимать «железный занавес» в отношениях между Востоком и Западом и считать, что он упал с падением Берлинской стены, то это событие на нашу литературу уже не могло оказать практического воздействия, потому что к тому времени газета «Нойес лебен» стала частной газетой, она использовалась в значительной степени для разжигания внутренней борьбы в движении российских немцев, причем была на стороне тех, кто фактически препятствовал конструктивному процессу в

решении нашей проблемы. Новым владельцам газеты было уже не до литературы, и даже тот скудный гонорар, который она раньше платила авторам, ей сейчас платить было не из чего. Альманах как приложение к «Нойес лебен» тем более был обречен: он еще более не нужен был владельцам газеты, да еще с его высокими гонорарами. Так что падение «большого железного занавеса» фактически совпало по времени с утратой нашей литературой возможностей для публикации вообще. И уже не имело значения, были или нет в письменных столах у наших авторов написанные ранее пророческие произведения о грянувших временах.

Но в последние два-три года существования альманаха (1987 – середина 1990) в его портфеле был внушительный запас произведений на несколько лет. Конечно, время обогнало некоторые из них, но были и такие, которые раньше никак не могли быть опубликованы. Были и договоренности альманаха с рядом авторов, работавших над новыми произведениями.

То есть, даже если считать, что с самым началом перестройки у авторов не было готовых произведений, которые по идеологическим соображениям нельзя было опубликовать в прежние времена, - всё же процесс, начавшийся в нашей литературе после открытия альманаха, обеспечивал, на мой взгляд, постепенное продвижение нашей литературы именно в том направлении, в котором развивались потом события в начальные годы перестройки, в том числе в направлении расширения гласности, освещения прежде запретных тем.

Поэтому главный «железный занавес» для *литературы советских немцев* начал падать, на мой взгляд, именно с началом выхода альманаха. Начал падать тот занавес, который, не давая возможности публиковаться вообще, не позволял литературе реанимироваться хотя бы до степени перевода из реанимационной палаты в общую больничную палату. После же появления возможности публиковаться процесс постепенного размягчения, перфорирования *идеологического* «железного занавеса» перед нашей литературой уже был запущен и пошел, чем дальше, тем активнее. И к началу перестройки мы уже проделали значительные бреши в этом занавесе: то, что ждавшая 15 лет публикации моя повесть всё же смогла появиться еще *до* начала перестройки, является не только следствием рискованной авантюры, но и в какой-то степени результатом проделанной альманахом работы.

А что касается пустоты письменных столов наших авторов к приходу новых времен, то столы эти, на мой взгляд, и раньше никогда не были особо перегружены: до появления альманаха писали обычно лишь то, что могло быть пропущено в печать, и столько, сколько позволяли время после рабочего дня да скудные газетные площади. После появления альманаха новые возможности были осознаны лишь через два-три года, и после этого уже вряд ли кто мог написать крупное произведение и, не предложив его альманаху, положить в письменный стол ждать лучших времен. Шок, на мой взгляд, пришел с развалом СССР и с приходом «рыночной экономики», когда в жизни людей, родившихся и выросших в конкретной стране, в конкретной общественной системе, снова, как в 1917 году после Октябрьской революции, как позже в начале войны, а затем после смерти Сталина, - перевернулось абсолютно всё. И даже литература утратила свою значимость как явление национальной культуры и национальной жизни, а стала в основном ажиотажным наркотическим товаром на рынке новых услуг, формируя и удовлетворяя спрос на ранее запретную эротику и бесконечные детективы.

К такому перевороту писатели (тем более из числа советских немцев) не были готовы по всей стране: прежняя серьезная литература, несмотря на всю ее подцензурность, была востребована в своей стране как нигде ничья литература не была востребована. И несмотря на ту же ее подцензурность, она всё же достигла заметных художественных высот – в том числе и в выработке форм преодоления этой

подцензурности, что тоже делало ее востребованной у читателя: миллионные тиражи литературных журналов – такого не было нигде в мире.

Теперь прежние ценности литературы оказались почти никому не нужными. Пришла совершенно новая генерация авторов, представители которой уже не сидели целый день, мучаясь над одной-двумя страницами текста, а, как гордо призналась в телепередаче одна из сегодняшних «литературных коров» („Schreibkuh“ – как говорил Ницше о Жорж Санд), выбивали на компьютере до 80 страниц «горяченького» в сутки. И к публикации теперь принималось только то, что давало быструю и большую прибыль, а это никак не является свойством серьезной литературы.

Так литература сменила свою ориентацию, сменила своего читателя, сменила своего издателя и сама стала совсем другой. И прежняя литература, получив долгожданную *свободу писать*, лишилась практически всех *возможностей публиковаться*. К такой «свободе» литература всей страны, в том числе и советских немцев, оказалась не готовой. И для нового времени у нее не было готовых произведений. А если бы и были более сильные, чем прежде, то всё равно они уже не интересовали издателей-предпринимателей. Прибыль стала новой, еще более жестокой, чем прежде, цензурой, разом выставившей литературу на панель.

Не отсюда ли сложилось впечатление, что короли оказались голые? А критики, пришедшие к такому выводу на основании знакомства с *издававшейся* литературой на территории бывшего СССР, экстраполировали этот вывод и на литературу советских немцев...

**15. В 1997 году Вы издали двуязычный томик стихов «Подземные колокола». Иоганн Варкендин сказал о нем: «Это достойная попытка поднять из небытия тайное, запретное, считавшееся окончательно убитым...». Попали ли в этот сборник и стихи, которые Вам присылались в альманах? Как вообще возник этот сборник?**

В сборник, конечно, попали и стихи из альманаха: часть стихов Герберта Генке и Нелли Ваккер из №1/1985, стихотворение Эдмунда Гюнтера из №2/1986, несколько стихов Норы Пфедфер из №1/1987, часть стихов Розы Пфлюг из №2/1984 и №2/1987, практически вся подборка Вольдемара Гердта из №2/1988, вся подборка стихов Адама Эмиха из №2/1989... По указанным номерам видно, что такие стихи альманах готовил к публикации еще до начала перестройки и публиковал чем дальше, тем больше, что еще раз говорит о динамике в расширении брешей для публикации.

А как возник сборник?.. Тут *вначале был VDA*, и хочу еще раз сказать ему большое спасибо. У Международного союза российских немцев, который я возглавлял, была договоренность с VDA о выпуске очередной книжки – поэзии российских немцев (раньше мы издали с VDA первую в нашей истории книжку об изобразительном искусстве российских немцев). И так как я давно стараюсь в наших российско-немецких проблемах делать лишь то, что, на мой взгляд, продвигает, пусть хоть на шаг, нас к главной цели – полной реабилитации, причем делать в первую очередь то, что другим по разным причинам невозможно сделать или что потребует от них очень больших усилий, - то я и предложил издать книгу стихов сопротивления и протеста (того самого прежде невидимого сопротивления и протеста в нашей литературе).

Мне было действительно легче, чем другим, подготовить такой сборник (если вообще можно употребить слово «легче» по отношению к книге на такие темы): я был в основном знаком с творчеством авторов; знал, что было опубликовано в альманахе и «Нойес лебен»; мог при необходимости вмешаться в переводы на русский, если они меня не удовлетворяют (что и пришлось делать, переводя иногда стихи практически заново); мне



были также знакомы переводчики (особенно большую помощь оказали Роберт Вебер и Роберт Кесслер)... В общем, *кто, если не ты?*

С небольшим штатом нашего Союза мы перелопатили подшивки наших газет, начиная с 1984 года, сделали ксерокопии всех полос, на которых было хоть одно стихотворение на нужную тему, затем отобрали лучшее, расположили по хронологии, заказали переводы...

Вот так и возник сборник. Если не говорить о том, *что* должно было вынести сердце у каждого, кто участвовал в подготовке сборника, чтобы глухой стон подземных колоколов боли всего нашего народа прорвался, наконец, наружу...

***16. Уже годы идет дискуссия о том, что пора заканчивать с «литературой изгнания», выжимающей слезы, и обратиться к современности. Как у издателя альманаха у Вас тоже было впечатление, что трагическая тема исчерпана? Или опять же недостает авторов, которые могли бы пережитое народом переработать в новой оригинальной художественной, литературной форме?***

***Для российских немцев публично выразить пережитое долгое время было подавляемой потребностью. Что, исходя из Вашего опыта, изменилось здесь за время с 1985 года?***

Что касается «литературы изгнания», то если понимать под ней только литературу российских немцев в Германии, обосновывающую и оправдывающую их выезд перенесенными страданиями в СССР и России, то можно бы сказать принятым сегодня: «это ваши проблемы». Но меня всегда отталкивает это выражение, потому что, на мой взгляд, чужих проблем не бывает – они всегда и все общие. *Не спрашивай, по ком звонит колокол; он звонит по тебе...*

Для литературы российских немцев в Германии обращение к теме изгнания – это не только стремление выразить боль народа. Насколько я понимаю, это и протестное стремление показать коренным немцам, *что* на самом деле привело, впервые в нашей истории, к такому массовому выезду российских немцев. Показать, почему на этот раз они выехали не в Америку, куда катились практически все прежние волны нашей эмиграции, а именно на историческую родину.

На историческую родину вал сегодняшней эмиграции выплеснулся потому, что всё национальное, что в прежние времена, при бегстве из царской России и в первые годы Советской власти, было еще живо в каждом российском немце, теперь, после десятилетий репрессий, дискриминации, несправедливостей, после отсутствия у народа своего национального дома, а значит, и национальной жизни, - было во многих российских немцах уже почти полностью уничтожено. И теперь речь шла уже не только о религиозных, социальных, экономических проблемах, как прежде. Сегодня, в этой последней, небывалой для нас по мощи волне эмиграции, речь шла о главном: о национальном, о нашей немецкости вообще, о возрождении и сохранении этой немецкости. А возродить и сохранить свою немецкость в такой ее предсмертной стадии ни в какой Америке уже невозможно; там можно только сменить одну ассимиляцию на другую. Возродить свою немецкость, немецкий язык российские немцы могут сегодня только там, где эта немецкость, немецкий язык *пока еще* живы – т.е. в Германии, которая когда-то сама вытолкнула наших предков в Россию.

В этом смысле литература на тему изгнания имеет для наших переселенцев не только функции освобождения от боли прошлого, фиксации и передачи следующим поколениям исторической памяти народа, но и просветительно-протестную функцию – в отношении коренных немцев Германии, очень мало и, как правило, негативно

информированных о российских немцах. Все эти ее функции-задачи рано считать выполненными, поэтому и тему изгнания закрывать, на мой взгляд, рано.

Если же под литературой изгнания понимать всю литературу российских немцев на темы депортации, репрессий, перенесенных несправедливостей, обманутых надежд и фактически вынужденного выезда, т.е. изгнания со своей родины и своей родиной – Россией, то значение этой литературы: по масштабности ее тематики, по исторической значимости того, что выпало на долю российских немцев и пережито ими, по серьезности стоящих перед ней задач – выходит за пределы ее значения только для российских немцев, для Германии и России. Она имеет, на мой взгляд, и весомое значение для того, чтобы вообще в мире понимать и помнить, как несправедливость, допущенная сегодня, может через десятилетия и века трагически повлиять на судьбы миллионов людей, на судьбы целых народов.

Для наглядности можно проследить хотя бы одну, и в пределах одного лишь века, такую линию. Ведь если бы не было унижайшего для Германии «мирного договора» после первой мировой войны, оскорбившего на десятилетия каждого германского немца, вряд ли Гитлер смог бы так использовать это униженное чувство национального достоинства немецкого народа, прийти к власти и начать новую войну «для защиты и возрождения» этого национального достоинства. Тогда не погибли бы десятки миллионов людей, тогда не были бы репрессированы и российские немцы, тогда не были бы они вынуждены сегодня выезжать в Германию, чтобы – хотя бы таким образом – уйти от бесконечных несправедливостей и по отношению к ним, чтобы попытаться сохранить и свое национальное достоинство, унижавшееся десятилетиями.

А таких линий – тьма. Забудут ли немцы Германии варварское разрушение Дрездена? Забудут ли народы бывшей Югославии трусливую американскую бомбардировку из безопасного далека? Забудет ли народ Ирака свое «освобождение» ценой тысяч жизней мирных людей, ценой разрушения и оккупации своей страны? И как еще откликнется для самой Америки, для поддержавших ее стран, это безудержное насаждение огнем и мечом своих «принципов демократии» другим народам?..

Если исходить из значения нашей «литературы изгнания» в этом ее втором, широком смысле, то тем более рано говорить о том, что пора ее «заканчивать». В том числе и потому, что главная книга на тему трагической судьбы нашего народа еще не написана. И вполне может случиться, что она уже никогда и не будет написана. Потому что старшее поколение, несущее в себе необходимую для этой книги боль, уже не успеет, видимо, ее написать – мало времени осталось у него, да и трудно предположить, что кому-то удастся физически вынести этот непосильный груз долга перед своим народом. А другие поколения всё больше отходят от нашей проблемы – и внутренне, и через «интеграцию», которая, с одной стороны, трудно отличима от ускоренной ассимиляции, с другой – очень похожа просто на бегство от своего трагического прошлого .

Понятно стремление бесконечно усталых людей не слышать больше ничего о перенесенных страданиях – это естественная защитная реакция измученного народного организма. Понятно и дистанцирование молодежи от этой проблематики – молодежь этого не пережила; она об этом мало что слышала от отцов и дедов, молча носивших боль своего народа в себе; она сегодня и сама стоит перед серьезными проблемами. Но писатель не должен идти на поводу у тех, кто устал или кто уже не хочет ничего знать о проблемах своего народа. Писатель потому и совесть, сердце, голос народа, что *осознанно несет на себе груз долга перед своим народом*. И если писателю нет больше дела до трагедии своего народа, то будет справедливо, если и народу не будет дела до такого писателя...

Мы не можем не отметить и того, что тема страданий нашего народа стала после 1985 года для некоторых авторов средством показать всем, что и они «страдали». Обычно

это те, кто до перестройки и знать ничего не хотел о проблеме своего народа. А когда писать о ней стало дозволено, более того – поощряемо (признанием, вхождением в движение российских немцев, повышением шансов на выезд), они громче всех стали эксплуатировать эту тему. И даже в Германии пытаются использовать ее, чтобы получить особый статус – не для народа, конечно, а как всегда, для себя. Но и это явление не должно снимать общеполитическую значимость темы изгнания, проблематики российских немцев вообще: нельзя сносить город только за то, что в нем есть и нечестные люди.

Тема эта требует сегодня и иного подхода. Если раньше, после десятилетий запретов и молчания, важна и достаточна была просто информация, эмпирика, документальность, то теперь требуется уже творческий анализ, художественное освоение и отображение. А это – серьезная задача будущего.

***17. В статье «Поиск выхода из несовершеннолетия» («Нойес лебен», 1999 г.) критик Любовь Кирюхина изображает послевоенную немецкую литературу в СССР как «поколение несовершеннолетних авторов, читателей и критиков». Как Вы воспринимали взаимосвязи между критиками, авторами и читателями в годы, когда издавали альманахи? Была ли немецкая литература без читателей, а литературная критика – лишь ритуалом демонстрации себя самой?***

***Насколько известна была немецкая литература в стране? Каким был тираж альманаха? Что было причиной прекращения выхода альманаха: падающий тираж? Или такое развитие политических событий, когда литература уже не могла преодолеть разрыв между массовым выездом и идеей восстановления автономии?***

Критики не перестают удивлять: судя по их наблюдательности, верности их оценок, их никак нельзя назвать дилетантами. Однако почему-то они всегда ограничиваются лишь констатацией и характеристикой «недостатков» нашей литературы, причем, как правило, подходя к ней с чужими мерками. И ни слова о мужестве нашей литературы, которая находила в себе силы бороться за своё выживание даже в условиях, в которых не находилась ни одна национальная литература в СССР, да и во всём мире...

Впечатление о несовершеннолетии нашей послевоенной литературы, на мой взгляд, вполне обоснованное. Ведь после войны, после всех утрат, после потери практически всего основного, «взрослого», состава наших писателей в 30-е годы и в годы трудармии, выжило лишь несколько авторов, которые до войны были в общем-то еще начинающими. И на этом своем уровне они как писатели оставались и после войны, как минимум целых 15 лет, пока не появились скудные возможности публикации в первых немецких газетах. Этот уровень сохранялся у них еще годы и годы, потому что газетные полосы – не лучшая творческая школа для становления писателя.

У наших авторов не было и возможности затрагивать серьезные темы жизни своего народа; мы уже говорили: эти темы были под запретом.

Не было и необходимого субстрата народной жизни, питающей литературу, культуру, искусство народа. Режим спецпоселения, распыленность народа, отсутствие совместного проживания и всё, связанное с репрессиями и дискриминацией, разрушили нормальную жизнь народа и препятствовали становлению *национального* писателя. Положение, проблемы народа могли бы стать темами серьезных произведений, но если на эти темы было запрещено писать вообще, то откуда взяться «совершеннолетней» литературе? Тут и «взрослая» литература впадает в младенчество!

Кстати, а почему бы кому-нибудь из специалистов не сравнить литературу российских немцев с другими национальными литературами в СССР того времени?

Полагаю, можно бы совершить интересные открытия. Даже литературы нерепрессированных народов того времени вряд ли поражали зрелостью. И если в них и появлялись заметные величины, то, как правило, лишь после перевода их произведений на русский язык, что делалось обычно по указанию сверху и по соответствующему плану публикаций национальных произведений, и что означало - так же обычно - создание нового варианта русским писателем по подстрочнику оригинала.

Тот, кто сравнит русские тексты произведений акына Джамбула с казахским оригиналом, будет поражен: некоторые стали вдвое больше и приобрели такую классовость и «политическую зрелость», о которых сам талантливый акын вряд ли подозревал до конца своей долгой жизни. А «энциклопедия казахской жизни» - роман классика казахской литературы Мухтара Ауэзова, переведенный на русский язык известным писателем Леонидом Соболевым? Даже в своей русской ипостаси он по художественным параметрам и уровню часто уступает роману нашего довоенного Г.Завацкого.

Я не хочу этим сказать, что другие национальные литературы были плохи. Просто их уровень также был обусловлен жизнью их народов, исторически, как правило, еще более «несовершеннолетних», чем российские немцы. Но эти другие национальные литературы имели несравнимо лучшие условия, чем наша литература, и мощную государственную поддержку, поддержку своего народа. И тем не менее... Чего же можно было ожидать от нашей литературы? Из своей истории, из своей национальной жизни не выпрыгнешь, в них можно только подпрыгивать...

Да, наши довоенные авторы начинали после войны, трудармии, спецкомендатуры практически опять с нуля, точнее даже - с большого минуса по сравнению с достигнутым до войны. Тем более те, кто до войны вообще еще не писал. И требовалось время, чтобы литература начала преодолевать свой очередной детский период, еще более трудный, чем после Октябрьской революции 1917 года. К тому же писать после войны могли лишь те, кто получил достаточное немецкое образование до войны - пополнение нашей литературы молодыми авторами со знанием немецкого языка началось лишь в 70-80-е годы, когда студенты немецких отделений у Виктора Клейна, Гуго Едига, благодаря своим учителям, особенно Виктору Клейну, оперились и стали пробовать свои перья.

С литературной критикой было еще хуже: если исключить Александра Геннинга, тоже совсем не профессионала, а больше вдумчивого, доброго наставника литературных первоклашек, то вся остальная «критика» долго состояла из откликов читателей. И.Варкентин внёс в литературную критику высокие критерии, но, без возможности соответствовать этим критериям, писатели больше угнетались ими, чем стимулировались. Более гармоничен в сочетании критериев и реалий литературной жизни был Герольд Бельгер. Однако глубокого профессионального критика у нас не было и быть не могло. Не только потому, что не было глубокой профессиональной литературы. Не могло быть в первую очередь потому, что как литературе непозволительно было касаться проблем жизни нашего народа, так критике непозволительно было касаться проблем литературы, которые определялись положением народа.

Да, «несовершеннолетним» был и наш читатель - тоже в основном люди, получившие знание немецкого языка еще до войны. Они также не имели долгие годы доступа ни к какой немецкой литературе, и их читательский вкус определялся в основном тем, что они могли прочитать в наших газетах - т.е. нашей «несовершеннолетней» литературой, пробирающейся по узкой тематической тропинке через минное поле бесчисленных запретов.

Так что всё правильно - все были «несовершеннолетние». И очень долго. Потому что «взрослость» не была дозволена...

Но даже в этих условиях у наших авторов были читатели. Это доказывают не только постоянные отклики на публикации, но и тираж хотя бы «Нойес лебен»: наивысший – более 200 тысяч подписчиков – был в 1965 году, году первых двух делегаций советских немцев, году начала движения советских немцев за свою реабилитацию. После этого тиражи неуклонно падали: знающие язык постепенно уходили из жизни, новым читателям практически неоткуда было братья, так как не было немецких школ.

У литературы были читатели. И литературную критику вряд ли можно обвинять в самолюбовании, в самодемонстрации – до каких-либо амбиций она тоже еще не доросла. Но даже непрофессиональная и «несовершеннолетняя», она всё же играла положительную роль, хотя бы тем, что показывала авторам: их читают!

В альманахе у нас также не было критики, которой мне лично хотелось бы: серьезной, глубокой. К тому же оценка публикаций альманаха, читательские отклики шли, естественно, в основном через «Нойес лебен»: газета выходила еженедельно и была значительно оперативнее, чем альманах с его двумя номерами в год, где статья могла увидеть свет в лучшем случае через полгода. В альманахе мы больше стремились провести своеобразную инвентаризацию нашей литературы: дореволюционной, довоенной и послевоенной – через эмпирико-исследовательские работы Вольдемара Эккерта.

Тираж альманаха также отражал как наличие у нашей литературы читателя, так и его постоянное сокращение без пополнения из новых поколений. Начинать мы в 1981 году с тиража 10 тысяч экземпляров; это не было полностью подпиской – первый номер было решено выпустить таким тиражом, чтобы его распространением приобрести потом постоянных подписчиков. В следующем году тираж первого номера даже несколько возрос – 10 200 экземпляров, тираж второго номера несколько снизился – 9 700 экз., затем снижение было, за одним небольшим исключением, уже постоянным и практически равномерным, до 5 900 экз. последних трех номеров 1989-1990 гг.

Альманах вполне мог выходить еще лет десять даже при падающем тираже, причем мог перейти и на 4-6 разовый выпуск в год – материалов уже было достаточно и постоянно накапливалось (мы даже несколько увеличили объем альманаха при постоянном гонорарном фонде). Однако в 1990-ом году он закончил свое существование. Причин было несколько.

Во-первых, после подъема в 1988 году второй волны в движении российских немцев, мне как сопредседателю созданного Всесоюзного общества советских немцев «Возрождение» приходилось всё больше заниматься вопросами нашей реабилитации. В конце этого года мы фактически добились согласия властей восстановить АССР немцев Поволжья к середине следующего года. Но организованными в Поволжье «протестами населения» эти намерения были торпедированы. Тогда была создана Государственная комиссия по проблемам советских немцев, в которую мне, вместе с рядом других членов руководства «Возрождения», было предложено войти.

Было также решено, пока не будет восстановлена автономная республика, создать Ассоциацию советских немцев как новую форму их государственно-общественного самоуправления, с представительством советских немцев в органах власти, в том числе и высших, с государственной поддержкой, со штатными представительными и исполнительными органами на местах и в центре. Для учреждения этой Ассоциации готовился первый в истории съезд советских немцев; оргкомитет по подготовке этого съезда возглавил академик Борис Раушенбах, я стал его заместителем и руководителем рабочей группы оргкомитета, которая штатно вела всю практическую подготовку съезда почти два года. Совмещать эту, на мой взгляд, очень важную для нашего дела работу с

работой по выпуску альманаха, также требовавшей полной отдачи, было невозможно, а другой кандидатуры на мое место не нашлось.

Во-вторых, газета «Нойес лебен» стала (если не ошибаюсь, в 1990-ом году) частной газетой; альманах же издавать без государственной поддержки было невозможно.

В третьих, выход альманаха только на немецком языке (как и газет) не позволял уже двум поколениям советских немцев, не владевшим немецким языком, вообще их читать. Поэтому мною было предложено выпускать журнал советских немцев и на русском языке, что могло бы быть очень перспективным, но успеть это сделать не удалось. Позже все наши газеты постепенно перешли на русский; мужественное исключение – бывшая «Роте Фане» на Алтае (позже «Цайтунг фюр дих»). Но на Алтае была несколько иная ситуация: там были еще старые чисто немецкие села, в них немцы говорили по-немецки и в школах изучали родной язык и даже советско-немецкую литературу.

Если же говорить о главной причине прекращения выхода альманаха, то ею действительно было развитие политических событий: распад СССР, несостоявшееся восстановление нашей государственности, и на этом фоне – массовый выезд.

Последняя вышедшая книжка альманаха – это №1 за 1990 год...

Была ли наша литература известна в стране? Можно сказать, что практически нет. Потому что долгие послевоенные годы у нас нечего было показать русскому читателю. Помню, в 1965 году, во время пребывания в Москве, наши делегации наивно пытались привлечь внимание центральных газет и журналов к нашей проблеме. С этой целью мы с И.Варкентиним зашли в редакцию журнала «Новый мир», чтобы попросить их опубликовать что-нибудь о проблеме советских немцев. Главного редактора - А.Твардовского, не было, и нас принял его заместитель, А.Кондратович. Он очень доброжелательно отнесся к нам и попросил дать редакции что-нибудь из произведений наших авторов. Дать было нечего...

Практически ничего не переводилось и на русский язык, за исключением чего-то настолько незначительного, что иногда лучше бы и не было переведено. Позже, тоже незадолго до окончания моей работы в альманахе, мне удалось договориться с издательством «Советский писатель» о выпуске сборника нашей прозы. Туда я включил в основном произведения, опубликованные в альманахе. Сборник – он назывался «Отчий дом» - получился солидный для нашей литературы: 13 авторов, 590 страниц. Он вышел в 1989 году небольшим для того времени тиражом 30 тысяч экземпляров и разошелся очень быстро. Это было первое серьезное представление нашей литературы русскому читателю...

***18. Литература российских немцев якобы уже одной своей немецкой формой создавала иллюзорный немецкий мир - «святую ложь», как выразился Иоганн Варкентин. Было бы лучше, если бы ее вообще не было? Как Вы видите это из сегодняшнего времени?***

***Что, на Ваш взгляд, сделал альманах, который, несомненно, сопровождал развитие литературы, документировал и в определенной степени стимулировал это развитие? Помог ли он литературе сделать шаг вперед, или он скорее отражал закат немецкой литературы в Советском Союзе?***

Если под немецкой формой подразумевать только немецкий язык произведений да немецкие имена их героев, и считать возможным называть это немецким миром, то мир этот действительно был иллюзорным. Бывало еще хуже: когда автор тужился изобразить картину чуть ли не полноценной национальной жизни советских немцев. Однако она

никогда не получалась, потому что кроме работы, семейных отношений да дружеского общения своих немецких героев с соседями других национальностей автор ничего отразить не мог: ни довоенной жизни, ни трудармии или спецкомендатуры, ни того, «Warum lernt Peter Französisch?» (название одной статьи в газете «Фройндшафт», за которую её автору и самой газете изрядно досталось).

Нельзя было писать даже о том, почему у всех есть своя национальная самодеятельность, а советским немцам предлагают «не замыкаться в себе, а петь в общем хоре» (установка после делегаций 1965 года, когда практически вся немецкая самодеятельность была закрыта, «чтобы не порождать автономистских настроений»); о том, почему так сложно попасть немецкой молодежи в вуз; о том, почему советские немцы сплошь доярки, трактористы да шахтеры; и почему народ, занимающий по численности 14-е место в огромной стране, не имеет в ее Верховном Совете ни одного своего представителя в течение всего послевоенного времени

В конце 1970-х годов я ездил в командировку в Казахстан, чтобы подготовить статью о происходившем сворачивании преподавания немецкого языка как родного; подзаголовок статьи был: «77 интервью по одному вопросу». После прочтения статьи заместитель главного редактора «Нойес лебен», вполне соглашаясь с ее содержанием и выводами, сказал, однако, что в таком виде опубликовать ее нельзя, и что шансы могут быть, лишь если картину всеобщности процесса (на собранном материале из нескольких областей) свести к ситуации в отдельной школе... Папка с пожелтевшими блокнотами к этой статье лежит у меня завязанной до сих пор...

Создать даже иллюзорный немецкий мир литература тогда не могла, пусть бы и захотела. Но она (как и публицистика), даже не ставя специально перед собой такую задачу, позволяла представить себе душераздирающую картину *реальной* жизни, которой жили тогда советские немцы. Позволяла именно отсутствием национальной тематики, гробовым молчанием о национальной жизни и проблемах, т.е. полным отсутствием в литературе такой национальной жизни.

И каждому было понятно, почему это так. Палки с табличками «дальше – опасно!», густо торчавшие на минном идеологическом поле не только нашей литературы, но и всей жизни нашего народа, действительно иногда использовались, чтобы опереться на них в неустойчивом продвижении по узкой тропинке дозволенного. Но эту жизнь народа на минном поле запретов литература не изображала как полноценную национальную жизнь. Вообще, заслуга нашей литературы того времени не столько в том, что она *писала* в своих произведениях, сколько в том, что она *показывала* своими произведениями.

...Было бы лучше, если бы ее вообще не было?

Но тогда в нашей проклятой жизни не было бы единственного лучика света. И мне трудно себе представить, как без нашей литературы проходила бы вся наша борьба за выживание, за сохранение нашего человеческого достоинства, за сохранение нашего народа. Ведь через свою обложенную со всех сторон непреодолимыми запретами художественную литературу народ получал хоть какое-то представление о своей истории. Через свою литературу читатели могли увидеть, что у них есть хотя бы два десятка писателей, которым небезразлична судьба их народа; писателей, которые, на грани разрыва сердца, стиснув зубы, пытаются поддержать свой народ в эти трудные времена и сами, с немалым риском, участвуют в делегациях, в движении российских немцев, в борьбе за их полную реабилитацию, за обеспечение народу достойного будущего.

Мне трудно представить себе наш народ без послевоенных его писателей: Виктора Клейна, Доминика Гольмана, Иоганна Варкентина, Рейнгардта Кёльна, Андреаса Закса, Александра Реймгена, Вильгельма Брунгардта, Вольдемара Эккерта; без «могучей кучки» с Алтая - Вольдемара Гердта, Вольдемара Шпаара, Фридриха Больгера, Эдмунда Гюнтера,

Александра Бекка, Андреаса Крамера, Эвальда Катценштейна, Петера Классена; без удивительно поэтичной нашей женской группы: Нелли Ваккер, Розы Пфлюг, Норы Пфедфер, Эрны Гуммель. Без следующего поколения, существенно расширившего мир нашей литературы – Виктора Гейнца, Роберта и Вальдемара Вебер, Рейнгольда Лейса, Ванделина Мангольда, Арно Прахта, Константина Эрлиха, Эльзы Ульмер, Хильдегард Вибе, предзакатно вспыхнувшей Ирены Лангеман. Не могу представить себе нашу литературу и без тех, кто не имел в ней прямого отношения к российским немцам: Зепп Эстеррайхер (Борис Брайнин), Рудольф Жакмьен, Лия Франк, Йозеф Уканис, Освальд Пладерс, Айво Кайдя, - которые тоже внесли свой вклад в развитие нашей литературы... Прошу простить меня, что не назвал всех в этом ряду, который можно бы, продолжив, удвоить и утроить.

Наша литература была нужна нашему народу. И еще как была нужна! И несмотря на своё тяжелейшее положение в течение всего своего советского, особенно послевоенного, периода существования, она, на мой взгляд, много дала своему народу.

Могла ли она дать больше? В тех конкретных условиях? - Пусть на эту тему рассуждают другие. У меня претензий и обвинений к нашей литературе нет. Я ее уважаю. Я ее люблю. За то, что она была. За то, что она сделала. А также за то, что вдохнула в меня свою боль и чувство долга перед своим народом. Тем самым она дала мне и силы устоять перед высокомерием некоторых языковых «авторитетов», ревниво воспринимавших стремление быть с литературой своего народа тех, кто уже не смог получить в школе знания родного языка и мучительно входил нее произведениями на русском...

Что сделал альманах, и был ли он шагом вперед или просто отразил закат немецкой литературы в Советском Союзе?

На мой взгляд, альманах появился очень своевременно. Точнее, на последнем пределе своевременности. Появись он раньше, с ним были бы немалые проблемы, еще большие, чем в годы его выхода. Появись позже, он смог бы просуществовать всего несколько лет, и не успел бы сделать для литературы того, что сделал.

А сделал он, на мой взгляд, немало (говорю о сделанном альманахом не как о сделанном его двумя сотрудниками, а как о сделанном всей нашей воспрявшей литературой, сполна использовавшей новые возможности для своего развития, для работы на благо своего народа).

И чтобы лучше представить себе, сделал ли что-то альманах, и что именно, надо просто предположить, что его очень легко могло и не быть – если бы не стечение тех обстоятельств, о которых было сказано вначале. И тогда всё, что опубликовано в нем (за исключением, может быть, стихов, которые поместились бы и на газетных полосах) не увидело бы свет или вообще не было бы написано. И никто даже не узнал бы, что был у нас когда-то роман Г.Завацкого, и вполне могло случиться, что была бы утрачена и последняя копия рукописи этого романа.

Не было бы альманаха - и наша послевоенная литература предстала бы перед потомками настолько жалкой и бедной, что даже защищать от нападков было бы почти нечего.

Не было бы альманаха - и у нас мало кто знал бы, что у российских немцев были и есть крупные художники, и среди них такая непревзойденная вершина, как Яков Вебер.

Альманах оказал самую большую поддержку нашим старым писателям – дал им возможность увидеть их произведения еще опубликованными.

Альманах основательно поддержал второе послевоенное поколение наших писателей.



Альманах отразил не закат нашей литературы, а ее никем уже не ожидавшийся бурный расцвет; К сожалению, этот расцвет оказался как бурный весенний расцвет полупустыни в Казахстане – короткий расцвет перед приходом всё сжигающего зноя.

19 книжек альманаха стоят на моей книжной полке, наполненные живой болью, историей, борьбой и надеждами нашего народа. Стоят как еще одно доказательство того, что наш народ до конца боролся за свое выживание, за свое равноправие, за свое будущее. Боролся, вдохновив и свою литературу на последний и неожиданно мощный всплеск творческой активности перед разрывом связи времен. И как электролампа, ярко вспыхивая перед разрывом сети, нередко перегорает, так и наша литература не выдержала напряжения и силы тока разрыва...

*19. В очерке о советско-немецкой литературе «Через все невзгоды – с народом» в «Хайматлихе вайтен» № 1 за 1989 год Вы писали: «Существование советско-немецкой литературы после 47 лет исключительно тяжелого, неравноправного положения советско-немецкого народа является удивительным феноменом; само это ее существование является и ее наивысшим достижением».*

*Это утверждение определенным образом противоречит многим другим высказываниям, в которых о послевоенной немецкой литературе в СССР говорится, что «ее не было», что она была «литературно неполноценной», или «практически неизвестной». («Она, в общем-то, есть, но на Западе она практически не известна», - говорил Александр Риттер в 1974 году; «языково и художественно непритязательная», «самовоображение и детское заблуждение» - Йоганн Варкентин, 1999; «литературы российских немцев не было» - Нора Пфэффер, 2004).*

*Что, с Вашей точки зрения, было смыслом и задачей (долгом) послевоенной немецкой литературы в СССР?*

В оценках нашей литературы у меня действительно давний спор с теми, кто относится к ней весьма критически. Может быть, моё отношение к нашей литературе обусловлено особенностями моей связи с ней. Ведь за десять лет работы в альманахе мне пришлось пропустить через себя по нескольку раз и прочувствовать каждое опубликованное в нем произведение, каждое предложение, каждое слово. Мне довелось поработать и с лучшими нашими авторами, и с начинающими. И приложить иногда немало сил, чтобы то, что публиковать было «нельзя», всё же увидело свет.

Может быть, взяв на себя нелегкую ношу по выпуску журнала в той ситуации, я, сам не всегда сознавая этого, помогал нашей «несовершеннолетней» или даже «детской» литературе понемногу расти и взрослеть, и у меня возник некий необоснованный родительский комплекс? А родители, как известно, лучше зная своего ребенка, не могут принимать только негативную оценку его другими?.. Впрочем, для некоторых критиков наша литература ведь тоже не чужая. Они были в ней, они остаются в ней, они знают ее, знают и условия, в которых она находилась, и тоже вполне обоснованно могут ощущать родительский комплекс...

Возможно, я слишком долго состою в движении российских немцев за их реабилитацию, за восстановление их государственности, что для меня всегда было важнее даже нашей литературы, проблемы которой – лишь один из результатов нерешенности нашего вопроса. Ведь без государственности, без совместного проживания народа не может быть условий для национальной жизни, а без национальной жизни не может быть ничего: ни национальной культуры, ни литературы, ни искусства, ни традиций и обычаев, ни самого народа. И если они всё же ещё существуют, то лишь как распустившиеся на спиленном дереве при наступлении тепла обреченные листочки. И мне трудно согласиться с тем, что эти листочки, поверившие в тепло и свет и согласно своему

генетическому коду стремящиеся наполнить жизнью обреченное вместе с ними родное дерево, надо упрекать в том, что они никак не превращаются в настоящие побеги и ветки и не дают полноценных плодов.

Но в нашем заочном споре с критиками я не вижу в них своих противников. Как правило, они профессионалы, и их оценки, выводы, утверждения располагают к нужной дискуссии, в ходе которой мы все вместе приблизимся, надеюсь, к истине. Пока же мы, по-моему, часто говорим о разных вещах. Они - о недостатках нашей литературы, и говорят умно, наблюдательно, профессионально; я - о мужестве, о подвиге нашей литературы, устоявшей в условиях, в которых ни одна литература устоять не может; о причинах отмечаемых недостатков, без учета которых (причин) невозможно, на мой взгляд, ни понять, ни верно оценить нашу литературу. Я считаю, что уровень нашей литературы – для тех условий, в которых ей пришлось возрождаться, - совсем не низкий, а иногда может вызывать даже удивление.

И мы рассуждаем по разным логическим правилам. Они говорят, что наша литература – младенческая, больная, ходила на костылях; что она - детское заблуждение, и даже что ее, оказывается, вообще не было. Я же спрашиваю: что, человек в детском возрасте – это не человек? Литература в детском возрасте - не литература? И как можно к литературе-ребенку предъявлять требования как к литературе взрослой?.. Что, больной, истощенный, борющийся со смертью узник концлагеря – не человек? Почему же литература в том же состоянии и в тех же условиях - не литература?

Наша литература была малоизвестна на Западе? Верно. Но это не ее вина. Это одно из следствий той вины «Запада», в результате которой мы, российские немцы, были репрессированы, депортированы, лишились всего, в том числе нашего прошлого, настоящего и будущего, лишились родного языка, национальной культуры и литературы; в результате которой даже сегодня российские немцы, прибыв на свою историческую родину в поисках последнего убежища для самосохранения, встретили далеко не радушный прием и власти, и коренного населения. В самом деле - кто любит тех, кого обреч на мучения?..

Нашей литературы не было? Но тогда надо сказать, что не было и тех, кто говорит это; не было около двадцати членов Союза писателей СССР и несколько десятков других авторов – советских немцев; не было их произведений; не было публикаций в течение почти сорока лет в газетах, книгах и альманахе.

Если нашей литературы не было, то что же лепетали преподаватели на курсе *литературы российских немцев* студентам немецких отделений педвузов и педучилищ, где готовились учителя немецкого языка как родного *и литературы российских немцев*? И что за таинственный предмет преподавали в школах эти учителя на уроках *литературы российских немцев*? И о чем тогда написана толстая книга с претенциозным названием «*История литературы российских немцев*» И.Варкентина?

(Кстати, эту книгу, на мой неравнодушный к авторитету нашей литературы и наших писателей взгляд, автору лучше бы отозвать из обращения, как отзывают ответственные фирмы свои автомобили с допущенными опасными дефектами: эта книга, при всех достоинствах автора, при всех его тонких и часто верных наблюдениях, дискредитирует не только нашу литературу и наших писателей искажением их отражения порой весьма нечистыми гранями постоянно вибрирующей и аберрирующей призмы внутреннего мира автора; эта книга и самого автора представляет читателям далеким от того вызывавшего уважение образа, который сформировался его лучшими стихами советского периода, многими произведениями германского периода его творчества, а также мужественным участием в движении российских немцев. Дефекты устранимы, отрицательные последствия их можно и нужно предотвратить, марку фирмы стоит сберечь, я готов помочь...)

Да, у нас не было нормальной, полноценной, развитой литературы. Но откуда взяться нормальной литературе в ненормальных условиях? Бросьте семена самых элитных деревьев на покрытые морозным инеем голые камни, появится ли цветущий сад? У нас были ценные, жизнестойкие, морозостойкие литературные семена, и некоторые из них упали на комочек скудной почвы, достаточный, чтобы они взошли, но недостаточный, чтобы выросло плодоносящее дерево.

Не думаю, что наши критики всего этого не знают. Просто: бывают риторические вопросы, бывают и риторические утверждения. Будем считать, что в данном случае мы имеем дело именно с последними.

По сути же такие утверждения вызваны, на мой взгляд, во многом той же глубокой болью за свой народ и за свою литературу, только в приступе боли авторы этих высказываний трансформируют свою протестную боль за отсутствовавшие нормальные условия для литературы в большой протест против самой литературы, ею совершенно не заслуженный...

О смысле и задачах нашей послевоенной литературы.

Стремление к творчеству дано человеку от природы, и проявляется оно в любых условиях (в трудармии, как мы теперь знаем, тоже писали стихи, с риском для жизни; пример - Вольдемар Гердт). И творчеству, если оно – естественная потребность, в принципе не нужны задачи.

Но результат творчества обращен обычно к обществу, и творцу совсем не безразлично, как общество относится к его творениям. Поэтому, осознанно или нет, он сам нередко ставит задачи перед своим творчеством. Например, протест против условий, в которых он творит. Или моральная поддержка тех, среди кого живет. Или улучшение общества, в котором живет.

А если творец политически, социально ориентирован, то он может поставить себя, свое творчество на службу тем идеям, которые ему дороги, на службу своей стране, народу, религии, партии (в т.ч. и такой, как нацистская или коммунистическая).

Литература российских немцев после войны имела свой важный внутренний смысл и задачу в том, чтобы она вообще опять появилась. На начальном этапе она вряд ли могла ставить перед собой другие задачи, тем более политические и идеологические. Проращением своих семян, своими бледными всходами она несла в мир главное: весть о том, что она не убита до конца! И это было важно для авторов, для народа, для самой литературы. Не потому ли так нежно лелеял и подбадривал эти бледные всходы старый А.Геннинг?

Наши авторы жили среди своего народа, были его частью, вместе с ним переносили все выпавшие на его долю страдания и несправедливости. Они не оторвались от него в его беде, их и не оторвали от народа какими-либо льготами и привилегиями, которыми власть часто отрывает интеллигенцию от народа. И наши авторы не могли не видеть положения своего народа и причин такого положения, а значит, не могли не поставить перед собой задач исправления этого положения, то есть политических задач.

Для работы на свой народ, для проявления заботы о нем, о его настоящем и будущем, нет утвержденного списка дозволенного. Поэтому и задачи можно ставить перед собой самые разные: от организации делегации к руководству страны до сохранения диалекта – живой души народа, хотя бы через любимый народом шванк, до поддержки национальной самодеятельности, до проведения выставки национальных блюд.

И наши авторы ставили перед собой такие задачи. Они сами участвовали в делегациях (Р.Кёльн, И.Варкентин, Д.Гольман, Э.Кончак), они готовили учителей для преподавания родного языка и литературы (В.Клейн), они переводили на родной язык то, что может не дать погаснуть памяти о прошлом (И.Варкентин – «Течет река Волга...» Л.Ошанина), они создавали клубы общения (Д.Гольман – «Клуб читателей газеты «Нойес лебен»), они до последнего вздоха писали в ЦК КПСС о необходимости реабилитировать народ (Р.Кёльн), они доносили через свои произведения до новых поколений историю своего народа... И делать это их никто не заставлял; наоборот, за это их очень даже преследовали.

Поэтому наша литература была далека от «чистого искусства», от «искусства для искусства»; она сознательно избрала себе путь служения своему народу. И то, что до сих пор ее усилия не привели к главной цели – полной нашей реабилитации, не ее вина: всё движение российских немцев не смогло пока достичь этой цели – за сорок лет борьбы. Но это не повод для тех, кто отдал достижению этой цели так много сил, жизни и своего таланта, в порыве горечи от несбывшихся надежд обрушивать свою досаду на литературу и на себя.

Литература правильно определила свои задачи, потому что если не будет условий для сохранения народа, то не будет и народа, а значит, не будет и его литературы. И то, что наша послевоенная литература успела сделать, не пропало даром: ее дела сохранились на газетных страницах, в книжках альманаха, в массовом национальном движении российских немцев, в знании родного языка у части наших детей и внуков, в истории нашего народа, в истории самой литературы.

Свой долг перед своим народом наша литература выполнила как никакая другая национальная литература. Низкий ей за это поклон.

*Вопросы подготовила: **Нина Паульзен***

*(2005)*

*(В сокращенном виде опубликовано на немецком языке в:  
Heimatbuch der Deutschen aus Russland, 2006, Stuttgart)*